

## Пушкин, Дельвиг и их петербургские друзья в письмах С. М. Дельвиг

Взаимные отношения Пушкина и Дельвига представляют собою редкий и умильный пример: дружба их была на редкость тесная, основанная на взаимном понимании и уважении; их союз, начавшись с момента вступления в Лицей, был больше чем дружбой — был братством. Внешне — их связь не раз и надолго порывалась, но внутреннее общение их было постоянным и неизменным. С детских лет их роднила и сближала любовь к поэзии и свойственное обоим литературное дарование, которое они рано распознали и оценили друг в друге: Дельвиг, как известно, один из первых полюбил гений Пушкина и еще в 1815 г. писал ему:

Пушкин! Он и в лесах не укроется:  
Лира выдаст его громким пением,  
И от смертных восхитит бессмертного  
Аполлон на Олимп торжествующий.

С годами взаимное понимание и любовь росли, крепили и становились все более сознательными; в разлуке друзья переписывались, — и нам известен ряд их дружески-нежных писем друг к другу; в периоды совместной жизни в Петербурге они выдалась чуть не ежедневно, — то в обществе «Зеленой лампы», то у общих друзей и знакомых, то в доме родителей Пушкина, у которых, по выходе из Лицея, жил поэт. Они были так нежно преданы один другому, что при встрече целовали друг у друга руку...

Естественно поэтому, что когда Дельвиг задумал жениться, Пушкин, узнав о предстоящей перемене в судьбе друга, принял весть с волнением. «Женится ли Дельвиг? опиши мне всю церемонию. Как он хорош должен быть под венцом! жаль, что я не буду его шафером», — писал он Плетневу в середине июля 1825 г. из Михайлов-

ской ссылки, где незадолго до того посетил его Дельвиг\*, — а вскоре писал самому Дельвигу: «Ты, слышал я, женишься в августе, поздравляю, мой милый — будь счастлив, хоть это чертовски мудрено. Целую руку твоей невесте и заочно люблю ее, как дочь Салтыкова и жену Дельвига»\*\*.

Пушкин не сомневался в выборе своего друга, — невеста была дочерью просвещенного человека — «почетного гуся» и «природного члена» «Арзамаса», Михаила Александровича Салтыкова, — но, мизантропически тогда настроенный, он не верил вообще в человеческое счастье. Однако, когда свадьба друга состоялась, он радостно-шутливо приветствовал своего друга и его молодую жену, из которой просил непременно сделать «арзамаску». Личное знакомство его с нею состоялось, как увидим ниже, лишь в конце мая 1827 г., но нет сомнения в том, что Пушкин еще заочно полюбил Софью Михайловну Дельвиг, как жену своего друга и брата; о первой встрече с поэтом и о последовавшем затем сближении с ним С. М. Дельвиг довольно много сообщает в письмах своих к одной своей далекой оренбургской подруге, А. Н. Семеновой, вскоре вышедшей за известного натуралиста и путешественника Г. С. Карелина<sup>1</sup>.

Пушкин был для Софьи Михайловны сперва любимейшим поэтом, — она умела ценить его стихотворения, — но потом он сделался дорог ей и как первый, лучший друг ее мужа и как постоянный гость, почти как старший член семьи.

Сама Софья Михайловна родилась 20 октября 1805 г. Свою мать, Елизавету Францевну, рожд. Ришар, родом французенку, она потеряла, будучи семилетнею девочкой, и росла сиротою; воспитание и образование свое она закончила в известном в свое время петербургском женском пансионе девицы Елизаветы Даниловны Шрётер, на Литейном проспекте. Одним из преподавателей ее здесь был Петр Александрович Плетнев — небезызвестный писатель, поэт, друг Дельвига и Пушкина, популярный впоследствии профессор Петербургского университета и академик; он с большим расположением и, кажется, не без сердечной нежности относился к своей ученице;

<sup>1</sup> О нем см., между прочим, статью Д. Ф. Кобеко «Путешествие Карелина по Каспийскому морю в 1836 г.» (Записки Восточного отделения Русского Археологического общества. Т. 5, С. 79—84), а также книгу В. И. Липского «Г. С. Карелин (1801—1872). Его жизнь и путешествия» (СПб., 1905).

она, в свою очередь, питала к нему чувства дружеского уважения, любила его уроки и главным образом ему, по-видимому, была обязана развитием большой любви к словесности вообще и к русской в особенности. Пушкин был для нее кумиром — по крайней мере, судя по ее письмам, она знала наизусть все, что он уже успел написать к 1824 г.; от Плетнева она узнала и о Дельвиге, позднее и о Боратынском (брате ее второго мужа, С. А. Боратынского), и о декабристах Рылееве и Бестужеве, помнила наизусть их произведения, с жадностью узнавала новые... Их имена часто мелькают в письмах ее к упомянутой пансионской подруге — Семеновой-Карелиной.

Эти письма представляют богатый и во многом очень свежий материал для характеристики как самой Салтыковой-Дельвиг-Боратынской, так и для биографических портретов ее первого мужа — поэта Дельвига, а также Пушкина, Плетнева, Кюхельбекера и многих других общих их друзей и знакомцев, среди которых она провела несколько лет своей молодости; они рисуют ту обстановку, в которой жили все эти люди сто лет тому назад, на грани двух столь различных между собою царствований — александровского, с его внешним блеском и славой и скрытым разладом и надрывом, и николаевского, начавшегося громом пушечных выстрелов на Сенатской площади 14 декабря 1825 г.

Принадлежа по родственным связям и отношениям к среднему слою петербургского высшего общества, Салтыкова, с выходом замуж за Дельвига, попала в среду тогдашней умственной интеллигенции, в небольшой по количеству членов кружок писателей, группировавшихся около симпатичной личности ее мужа — поэта и издателя известных альманахов «Северные цветы» и «Подснежник» и «Литературной газеты». Подробности биографии Дельвига — рассказы о его сватовстве и жениховстве, о семейной жизни и поездках, о литературных работах, об отношениях к людям, наконец, его новые письма и данные о его болезни и смерти — представляют несомненную историко-литературную ценность. Не одни пушкинисты с интересом прочтут и то, что сообщается в письмах 1827—1830 гг. о Пушкине: живые, непритязательно-правдивые свидетельства С. М. Дельвиг, горячей поклонницы поэта и жены его ближайшего друга, писаны под свежим впечатлением непосредственных восприятий, и, конечно, найдут свое место в подробной биографии Пушкина; нельзя не пожалеть лишь о том, что этих свидетельств сравнительно немного и что они не так пространны, как нам бы хоте-

лось. Частые упоминания и рассказы о Плетневе дорисовывают нам и без того уже достаточно отчетливую фигуру этого писателя по призванию и верного друга своих многочисленных друзей.

Сама С. М. Дельвиг рисуется нам особою экспансивною — быть может, наследственно, от матери француженки, получившею некоторую долю этой повышенной страстности натуры; она легко поддается довольно часто и резко меняющимся настроениям; она мечтательна и несколько сентиментальна, особенно в более ранние годы, когда невольно обращает на себя внимание ее «по-институтски» сентиментальное отношение к подруге-корреспондентке; это отношение иногда срывается у нее, судя по переписке; срывы ведут к перерывам в письменных сношениях, а затем — к бесконечным извинениям в молчании и раскаянию... Из писем видно, что Салтыкова очень рано умственно развилась, что она получила хорошее, типичное для своего времени, преимущественно светское образование, страстно любила литературу, особенно русскую, много читала и по-немецки, и по-французски, наконец, играла на клавишине. Сентиментальностью и книжным влиянием отдает и от ее романа с Каховским<sup>1</sup>; но при всем том в ней нет ничего искусственного, — она искренна, непосредственна, простодушна и в высшей степени женственна. По окончании частного пансиона, руководимого типичною представительницею профессионально-педагогического ремесла — Е. Д. Шрётер, о которой при всяком удобном случае она вспоминает в письмах не иначе, как с долею шаловливой насмешки, не всегда добродушной, — и до выхода своего замуж Салтыкова живет в довольно мрачной обстановке, — без матери и без женского влияния, без братьев и сестер, в обществе одного отца, человека высокообразованного, но с чрезвычайно тяжелым характером, «ипохондрика», как тогда определяли людей, которые без видимых причин впадали в мрачное настроение духа, угнетающе действовали на окружающих, не умея или не желая сдерживать своих порывов и поддаваясь внешним впечатлениям... При самом вступлении в жизнь она встречается с другим оригиналом — своим дядюшкой П. П. Пассеком<sup>2</sup>; много других оригиналов приходится наблюдать ей и позднее, — все это отражается в ее письмах, в которых мы находим и другие интересные сообщения, —

<sup>1</sup> См. «Роман декабриста Каховского» в наст. изд. и ниже в настоящей работе.

<sup>2</sup> См.: Былое. 1924. № 26; его портрет на с. 17.

например, рассказ о знаменитом петербургском наводнении 1824 г. и т. п.

До нас дошло мало отзывов о С. М. Салтыковой-Дельвиг-Боратынской. Досаднее всего, что не оставил нам о ней воспоминаний П. А. Плетнев: он лучше, чем кто-либо другой, мог бы нарисовать портрет своей ученицы и жены своего друга Дельвига, которая и впоследствии изредка поддерживала с ним письменные сношения.

Зато в письмах Софьи Михайловны Плетневу уделяется постоянное и заметное внимание. В первом же своем письме к Семеновой, писанном 9 мая 1824 г. из смоленской деревни П. П. Пассека, семнадцатилетняя Салтыкова упоминает, в числе самых дорогих ей людей, «Плетиньку» — так называла она с подругами этого своего пансионского любимого преподавателя; скучая о петербургских друзьях, она пишет подруге, что с болезненным чувством вспоминает даже о не любимой никем начальнице того пансиона, в котором она с Семеновой училась, — Елизавете Даниловне Шрётер: «...посуди сама о том, какое удовольствие мне быть здесь. Плетинька, Саша (Копьева), ты, — составляете предмет моих дум. Нет, Саша, не выдержи трех месяцев мучения, — я получу ипохондрию, — это верно!»

«Плетинька» был тогда еще сравнительно молодым человеком (ему было не более тридцати лет), пользовавшимся большим расположением своих многочисленных учениц по Патриотическому и Екатерининскому институтам и по пансиону; он умел развивать в них любовь к предмету преподавания и, сам поэт и писатель, принадлежавший к небольшому в те времена кружку петербургских литераторов, импонировал им своими связями в их среде, знакомил с новыми явлениями в области словесности, преимущественно — отечественной, сообщал им о своих приятелях и знакомцах-писателях и вообще вводил в круг литературных интересов. Из писем Салтыковой ясно, какая духовная близость существовала между Плетневым и его талантливыми ученицами. Он именно познакомил Салтыкову со своим другом Дельвигом, за которого Софья Михайловна и вышла замуж после неудачного романа с декабристом П. Г. Каховским<sup>1</sup>; сам Плетнев, по-видимому, как мы упомянули, был не совсем равнодушен к своей ученице, — во всяком случае, питал к ней нежные чувства, за которые Софья Михайловна платила наставнику полную откровенность.

---

<sup>1</sup> См. статью «Роман декабриста Каховского».

К сожалению, в архиве Плетнева, находящемся ныне в Пушкинском Доме, сохранилось лишь одно, позднейшее ее письмо к нему\*, а в архиве самой Софьи Михайловны, принадлежащем также Пушкинскому Дому, нашлось лишь два, тоже позднейших и довольно чопорных письма Плетнева\*\*; но и без их переписки, по одним письмам Софьи Михайловны к Семеновой-Карелиной, можно с достаточной отчетливостью видеть душевную близость их отношений. Приступая к выдержкам из этих писем<sup>1</sup>, начнем с первого из них, — в котором рассказывается о личном знакомстве ее с Кюхельбекером, в деревне дяди, 1 августа 1824 г.; знакомство с этим оригиналом доставляет ей большую радость, и она в восторге от своеобразной личности этого друга Пушкина.

Вот как рассказывает она об этом знакомстве в письме от 22 августа из смоленской деревни дяди П. П. Пассека:

«В Крашнево приехал один молодой человек, которого я была очень рада увидеть, — Кюхельбекер. Уже давно я хотела с ним познакомиться, но не подозревала, что могу встретить его здесь. Г-н Плетнев очень хорошо его знает и всегда говорил мне о нем с величайшим интересом. Я нашла, что он несколько не преувеличивал мне его добрые качества; правда, это горячая голова, каких мало, пылкое воображение заставило его наделать тысячу глупостей, — но он так умен, так любезен, так образован, что все в нем кажется хорошим, — даже это самое воображение; признаюсь, — то, что другие хулят, мне чрезвычайно нравится. Он любит все, что поэтично. Он желал бы, как говорит, всегда жить в Грузии, потому что эта страна поэтическая. Он парит, как выражается Дядюшка (и я сама стала любить таких людей, — я люблю только стихи, проза же кажется мне еще более холодной, чем прежде). У этого бедного молодого человека нет решительно ничего, и для того, чтобы жить, принужден он быть редактором плохонького журнала, под названием „Мнемозина“, который даже его друзья не могут не находить смешным, и сочинять посредственные стихи (ты, может быть, помнишь одну вещь, под заглавием „Святополк“, в „Полярной звезде“: она принадлежит его перу). Ужасно досадно, что он судит так хорошо,

<sup>1</sup> Письма С. М. Дельвиг к А. Н. Семеновой-Карелиной хранятся в Пушкинском Доме АН СССР, в архиве Боратынских и Дельвигов, находившемся в их тамбовском имении «Мара». Всех писем 127, за 1824—1837 гг. Все они, кроме отдельных фраз, писаны по-французски и даются здесь в переводе, исполненном автором статьи\*\*\*.

а сам пишет плохо. Он хорошо знает Дельвига, Боратынского и всех этих господ. Я доставлю большое удовольствие Плетневу, дав ему о нем весточку. К моему великому сожалению, он остался здесь только на один день».

Завязавшийся вскоре роман Салтыковой с Каховским проходил в атмосфере, насыщенной литературой. Молодые люди говорят о литературе. Каховский декламирует множество стихов Пушкина — в том числе и таких, которые еще не появлялись в печати и которые он слышал от самого поэта, с коим он лично знаком<sup>1</sup>; он цитирует и Дмитриева, и Жуковского, и Руссо, да и весь роман развертывается как бы по книжному образцу, — действующие лица его, как они представлены в рассказе Софьи Михайловны, имеют вид героев одного из бесчисленных литературных произведений в форме романа: в нем есть и пламенный любовник, смелый и в то же время сентиментальный и сперва кроткий, а потом дерзкий; его возлюбленная, неопытная девушка, находящаяся под строгим наблюдением не понимающих ее окружающих — старших родных — тетки, дяди, отца; есть и неизбежная наперсница в лице Е. П. Петровой, будто бы «воспитанницы» дяди, а на самом деле — его «левой» сестры; наконец, самый роман изложен в обычной и распространенной форме писем к подруге...

С возвращением в Петербург, где роман Софьи Михайловны имел довольно необычайное продолжение и окончание, она входит в атмосферу литературных интересов, — в первое время благодаря, главным образом, постоянному общению с Плетневым, имя которого не сходит со страниц писем ее к далекой подруге.

«Я передала Ольге и г-ну Плетневу, — пишет она подруге 13 октября 1824 г.— все, что ты поручила мне сказать им; последний мил как никогда; каждый раз, что я его вижу, я люблю его все больше. Он поручает мне благодарить тебя за память и сказать тебе тысячу нежностей. Он принес мне несколько отрывков из новой поэмы, которою занят в настоящий момент Пушкин<sup>2</sup>, и настоятельно просит меня послать их тебе, что я и делаю. Сохрани их, — это драгоцен-

---

<sup>1</sup> Наст. изд., с. 183. Когда Каховский узнал, что Пушкин выслан из Одессы в деревню, он собрался хлопотать о получении места, которое занимал в Одессе Пушкин при гр. М. С. Воронцове (там же, с. 207).

<sup>2</sup> Судя по нижеприводимому стиху, речь идет об «Евгении Онегине», 2-й его главе. Отрывок поэмы напечатан был в «Северных цветах» на 1825 г. (с. 280—281).

ность, так как это — руки самого Пушкина; он прислал эти отрывки Дельвигу, который отдал их Плетневу, и только мы четверо знаем эти стихи. Плетинька очень просит меня не сообщать этого никому, потому что это уже не будет новостью для Александры Николаевны. Это его собственные слова. Сознаюсь тебе откровенно, что мне очень хотелось снять для тебя копию этих стихов, а автограф Пушкина сохранить у себя, скрыв это от тебя, — чтобы ты на это не зарилась<sup>1</sup>, — но Плетинька просил меня не делать этого: *\*Я вам достану что-нибудь его руки, лобезная Александра Сергеевна<sup>2</sup>, а это прошу вас послать Александре Николаевне, — вы ее много утешите\**. Очень прошу тебя, милый друг, сказать мне твое мнение об этих стихах. что касается меня, то я нахожу их очаровательными, в особенности начиная от этого места:

Он пел любовь, любви послушной<sup>3</sup>.

Весь этот кусок очень красив, не правда ли? Посылаю тебе также новые стихи Жуковского, которые он написал в одном альбоме. Я их получила тоже от Плетнева. Кстати: дорогой наш Пушкин выслан в деревню к своему отцу за новые шалости; ты знаешь, что он был при Воронцове, — так вот последний дал ему поручение, для исполнения которого он должен был непременно уехать, он же ничего не сделал и написал сатиру на Воронцова. *\*Каков мальчик?\** Я убеждена, что он создаст новые стихотворения в своем уединении, которые будут еще более остры...

Благодаря г-ну Плетневу я провожу очень приятные минуты. Наденька Полетика тоже много выигрывает, когда ее узнаешь: это превосходная особа, что же касается ее мужа, то я уважаю и люблю его от всего сердца: это ангел. Я всегда была хорошего о нем мнения, теперь же нахожу, что я недостаточно его ценила. Он прямо доблестен, я знаю его черты, это молодой человек, на которого можно положиться. Я вижу тоже с удовольствием, что Наденька умеет ценить и уважать его, и они будут счастливы. Они всегда спрашивают, какие от тебя известия, и приветствуют тебя. Вот, дорогой друг, единственные лица, которых я вижу и которых я люблю видеть; что

<sup>1</sup> В подлиннике: «Pour ne pas te faire venir l'eau à la bouche».

<sup>2</sup> Так, очевидно, в шутку назвал Плетнев С. М. Салтыкову за ее обожание Пушкина.

<sup>3</sup> Судьба автографа Пушкина, посылаемого А. Н. Семеновой в Оренбург, неизвестна.



касается прочих, то я очень хорошо обхожусь и без них, не исключая Кутайсовых и Клейнмихелей. Сегодняшний вечер я провела у Саши Геннингс<sup>1</sup>. Она — олицетворенное легкомыслие [frivolité], но при этом очень добрая особа; это, впрочем, не помешало мне очень скучать у нее, так как у нее было много народу и я должна была слушать разговор, который меня вовсе не интересовал. У нас много новых знакомых, — между прочим — девицы Ивелич<sup>2</sup>, из коих одна возмущает меня своим вульгарным тоном [ton poissarde]. Норов<sup>3</sup> с некоторого времени также посещает ее; что касается его, — я его очень люблю: его общество очень приятно; однако я не могла сегодня насладиться этим обществом, так как он очень поздно пришел к Саше: мы уже уезжали, когда он входил. Он все так же добр и мил, но невозможно рассеян. Мне рассказывали, что вчера он вошел в один дом, ни с кем не поздоровавшись, даже с хозяйкой, и просто-напросто уселся, ничего не говоря; затем вспомнил, как он поступил, и был очень этим смущен; однако ему по доброте сердечной простили его промах, так как всем известна его рассеянность».

Следующее письмо Салтыковой — от 16 ноября — было посвящено описанию страшного наводнения 7 ноября; это описание дает несколько не лишенных интереса подробностей и еще раз подтверждает, какими верными красками описал Пушкин страшный день наводнения в «Медном всаднике»; рассказ же о бедном моряке Луковкине, не нашедшем на месте своего дома, который оказался снесенным водою со всем его семейством, напоминает печальную историю Евгения и его возлюбленной Параша с матерью... Вот письмо в той части, которая описывает наводнение:

«Прошло восемь дней с тех пор, как я получила твое письмо от 18 октября за № 11. Перед тем как отвечать тебе, необходимо сообщить тебе грустную новость, которая в скором времени станет известна и всей России. 7 ноября, в тот самый день, как я получила твое письмо, в городе и в окрестностях было страшное наводнение. Еще в течение ночи слышны были пушечные выстрелы, которые извещали население о необходимости принять меры против воды, которую сильный морской ветер заставлял выступать из берегов; но

---

<sup>1</sup> О ней см. ниже.

<sup>2</sup> О них см. ниже.

<sup>3</sup> Абрам Сергеевич, впоследствии министр народного просвещения. Есть его стихи на смерть Пушкина<sup>4</sup>.

это не было еще так серьезно и угрожало только лицам, живущим близ Невы или Фонтанки и в первом этаже. Однако к утру ветер так усилился, что люди не могли больше выходить, боясь потерять шляпы; он еще усилился к 10 часам, и, наконец, три четверти города было залито водой; люди, ехавшие на дрожках, принуждены были вставать, чтобы не слишком промокнуть. На улицах было видно множество народа, бегущего и кричащего. Сначала это забавляло, но так длилось недолго: с каждой секундой опасность становилась все сильнее, наконец, в три часа дня появились волны почти на всех улицах; барки очутились на Невском, лавки, магазины были залиты водой; воцарился ужаснейший хаос, мосты были снесены, сломаны; были несчастные, которые тонули, не успевши спастись или не могли это сделать, так как невозможно было войти ни в один дом: вода достигала до 2-го этажа, в особенности у Фонтанки и у Невы. Но самая ужасная картина была на Васильевском острове, в Коломне и в Галерной гавани, где дома были снесены в Кронштадт; говорят, что их осталось очень мало. Даже на Моховой была вода, я ее видела собственными глазами; приходилось ездить на лодках. Конные караульные отряды потеряли множество лучших лошадей; ты, может быть, слышала про Королева, богатого купца, имевшего чудную лавку под Английским магазином; он потерял на 100 000 руб. товару, а многие другие так и всё потеряли. Беркховы успели спасти лишь самих себя; в настоящую минуту они находятся у Волковых. Некоторые из наших знакомых потеряли людей, вещи, лошадей, коров, а бедный Норов<sup>1</sup>, со своей деревянной ногой, которому было так трудно спастись, потерял более чем на две тысячи рублей; для него это много, так как он имеет всего 4 или 5 тысяч в год. Нужно было видеть город на следующий день: сколько опустошения, сколько несчастных! Насчитывают 14 000 человек погибших и гораздо большее число совершенно разорившихся и не имеющих даже крова. Каменный остров и вообще все острова в жалком положении. Екатерингоф, который стоил столько денег и про который говорили, что он так хорошо устроен, никуда теперь не годится; казна понесла много потерь лошадьми, лесом и т. д. На другой и на третий день видны были барки, оставшиеся на улицах, у Зимнего дворца, на Царицыном лугу и пр. Парапеты испорчены, мосты сломаны, одним словом, Петербург представляет собою грустное зрелище, повсюду

---

<sup>1</sup> Абрам Сергеевич.

видны лишь похороны. Со Смоленского кладбища нанесло множество крестов к Летнему саду — на улицах лежали мертвые тела на другой день. Государь дал миллион на несчастных, но сказал, что прибавит еще через некоторое время; и в самом деле, этого не хватит, так как потери ужасные; он много плакал над этим бедствием и хорошо наградил генерала Бенкендорфа, рисковавшего жизнью для спасения 9 несчастных, готовых погибнуть, что ему и удалось; один моряк 16 лет тоже отличился блистательным подвигом, за что получил Владимирский крест. Государь был тронут, увидав его поступок, и не замедлил тут же дать ему крест, который он взял у одного из своих флигель-адъютантов, находившегося тогда около него. Рассказывают много раздирающих сцен; между прочим, про некоего Луковкина, моряка, имевшего дом на Гутуевском острове — совсем близко от залива и, следовательно, на очень опасном месте. Была у него жена и трое детей, за которых он очень беспокоился в этот день, так как был дежурным и не мог вернуться до вечера. Наконец, когда он пришел домой, то не нашел ни жены, ни детей, ни крова, ни единого следа своего жилища — каково его состояние!

Граф Шереметев дал 50 000 руб. бедным пострадавшим; графиня Орлова 150 000, великая княгиня Мария, которая теперь здесь, — 15 000, но всего этого мало; нужно, чтобы вся Россия оказала помощь несчастным жителям Петербурга. Несомненно, что наводнение хуже всякого пожара; говорят, никогда не было ничего подобного, это будет целая эпоха в нашей истории, это вроде землетрясения, против которого нельзя принять никаких мер. По всей России в этом году бедствия; беспрестанные дожди произвели почти повсеместный голод; в Крыму — саранча причинила ужасное опустошение; в Петербурге свирепствует глазная болезнь, от которой вылечиваются с трудом; глаз понемногу пухнет, а потом вытекает, и тогда слепнут навсегда. В Горном корпусе 140 детей больны этим, и из них 30 уже ослепли; говорят, что болезнь дошла уже и до Морского корпуса. Спектакли закрыты на месяц по приказу Государя, который сказал: «Теперь не время веселиться». Всюду говорят только о наводнении; все это уже навязло в ушах, так в конце концов надоедает слушать все одно и то же. Нужна была бы целая тетрадь, чтобы описать тебе все, что случилось в этот ужасный день. Забыла тебе сказать, что Оболяниновы сильно пострадали, но все спаслись...»

Войдя в обычную житейскую колею, Софья Михайловна снова сообщала подруге о текущих событиях:

«Я видела г. Плетнева две недели тому назад. Я отправлюсь по-видать его в ближайший вторник и передам ему твое письмо. Он всегда просит меня показывать ему письма, которые ты пишешь мне, и обещает не читать тех мест, которые я не захочу сообщать ему, я не смею уступить его просьбе, не посоветовавшись с тобой, и хотя мне придется долго ожидать твоего ответа, я предпочитаю это, чем сделать нечто, что, может быть, тебе не понравится; в ожидании я постараюсь вернуться от настояний г. Плетнева или сделаю вид, что забыла твои письма; я покажу ему некоторые из них; я могу это сделать даже не имея твоего мнения об этом, но он хочет непременно прочесть их все. — Ты говоришь мне о сочинении Штиллинга, которое ты теперь читаешь: я знаю его хорошо понаслышке: Черлицкий<sup>1</sup> очень хвалил мне его и хочет мне его достать. Я сказала эту, что ты читала эту книгу, и он поручил мне передать тебе тысячу приветов и сказать, что он очень доволен тем, что ты занимаешься подобным чтением, и что он просит Бога, чтобы оно произвело на тебя то действие, которое оно должно произвести. Он дал мне одну книгу в том же роде, под заглавием: „Das Ende commt, es commt das Ende“, которая, по его словам, очень хороша. Я только что ее начала. Автор этого сочинения думает, что конец света очень близок, и доказывает это довольно наглядным образом, по знаменьям, которые Иисус Христос указал нам, как предтечи этой великой катастрофы; некоторые из них уже проявились и, по всем признакам, другие не замедлят осуществиться, и мы, может быть, вскоре увидим пришествие Антихриста...»<sup>2</sup>

«Я читала твое письмо к г-ну Плетневу, — читаем в письме от 4 января 1825 г., — не гневайся, — потому, что я уверена, что он мне сообщил бы его... Завтра вторник, однако я его не увижу, так как будет праздник; но я знаю, что он должен быть в Институте<sup>3</sup> в среду, — и туда я и пошлю ему твое письмо. \*К Новому году (1825) вышли «Северные цветы», изданные Дельвигом; там не очень много хорошего, однако ж довольно, но менее, нежели я ожидала. Также и вздору довольно. Остроумный князь Вяземский иногда врет, За-

<sup>1</sup> Черлицкий — старый учитель музыки С. М. Салтыковой.

<sup>2</sup> Из письма от 14 декабря 1824 г.

<sup>3</sup> Екатерининском, где Плетнев преподавал словесность.

горский, Григорьев, Туманский, — все это дрянь, — ты их знаешь. Отрывки из «Евгения Онегина», «Мотылек и цветы» Жуковского помещены там.\* Есть прекрасная проза Плетнева: «Письмо к Графине С. — (не знаю, кто это)<sup>1</sup> — о Русских поэтах; Дашкова — прекрасный отрывок из его путешествия по Греции.\* Между стихами много таких, которые мы уже знаем, например: «Измена» Плетнева; «Улетает, улетает, легкокрылая мечта»; «Разлука» его же: «Я знал ее как первый луч» и т. д. и еще его стихи: «Покой души, забавы ожида-нья, счастливые привычки юных лет». Помнишь ли? Кажется это у тебя в альбоме написано. — Пушкина Демон: В те дни когда мне были новы и пр.\* Есть также красивые стихи Пушкина, Боратынского, Плетнева, русские песни Дельвига, одна хорошая вещь Вяземского; Рылеева — нет ничего; милые басни Крылова, а остальное — мелочи. Есть одна Идиллия Дельвига, которая заставила бы меня покраснеть, если бы ее мне прочел какой-нибудь мужчина; к счастью, папá прочел ее один, и теперь я боюсь, чтобы Плетнев не заговорил со мной о ней: я скажу ему, что я ее не читала»<sup>2</sup>.

В другом письме мы снова встречаем упоминание о двух лицах, имеющих прямое отношение к Пушкину: об А. О. Геннингс и о графине Е. М. Ивелич.

«Александрина Геннингс, — читаем в письме от 2 ноября 1824 г., — сделалась еще более легкомысленною, чем была раньше; она ежеминутно делает новые знакомства, которые очень мне не нравятся. Она, между прочим, сошлась с одною графинею Ивелич, которая больше походит на гренадера самого дурного тона, чем на барышню. Что за походка, что за голос, что за выражения! К тому же она нюхает табак и курит, когда никого нет; она приносит свою трубку к Александрине и выкурила пять или шесть трубок при мне в течение одного вечера. Какова девица? Соломирский, которого ты должна хорошо знать по отзывам Марии (*нрзб*), тоже часто бывает у Александрины: это один из величайших фатов, каких я только видела; по крайней мере, однако, он с талантами, и прекрасный музыкант. У Саши теперь две близкие подруги, — это: Варенька Клейнмихель и ее кузина, девица Титова, с которою она познакомилась два или три месяца тому назад. У нее уже есть кольцо с тремя ру-

<sup>1</sup> Это графиня Соллогуб.

<sup>2</sup> Идиллия Дельвига — «Купальщица» («Северные цветы» на 1825 г. С. 346—357).

ками и следующей надписью: «unies pour l'éternité»<sup>1</sup>. Я с трудом удержалась от смеха, когда она мне сказала, что это руки Вареньки, Титовой и ее: нет ничего смешнее этих подруг Саши, которых она меняет, как башмаки».

Клейнмихель была кузиною С. М. Салтыковой; что касается упомянутой ею Александрины Геннингс, то она также приходилась Салтыковой кузиною со стороны матери, Елизаветы Францевны: она была дочерью Иосифа Францевича Ришара<sup>2</sup>; она отличалась красотой и большим талантом к пению, о котором вспоминает в записках своих композитор Н. А. Титов<sup>3</sup>: «Редко слышал я, кто бы так хорошо пел романсы, как г-жа Геннингс, урожденная Ришар... Я познакомился с нею в 20-х гг.; она была очень дружна с двоюродной сестрою моею Варварою Александровною Клейнмихель, урожд. Кошкиной. В те годы еще мало пели русские романсы, а потому г-жа Геннингс пела всё романсы французские. Романс „*Conçois-tu toutes mes douleurs*“ пела она восхитительно...»

В молодых годах А. О. Ришар вышла замуж за некоего Геннингса, но вскоре или овдовела, или развелась с ним и проживала в Петербурге; 3 июня 1826 г. С. М. Дельвиг писала своей подруге, что «Саша Геннингс выходит, наконец, замуж за Пушкина, ромистра гвардейских гусар, и едет в Москву, так как там будет ее свадьба». Этот Пушкин был Федор Матвеевич Мусин-Пушкин, служивший в лейб-гвардии Гусарском полку с 1817 до 1836 г.; затем он был полковником Одесского уланского полка и вышел в отставку генерал-майором<sup>4</sup>. Геннингс-Мусина-Пушкина была знакома со всей семьей поэта Пушкина, в которой так и называли ее *Md. Pouchkine ex-Enix* или *ex-Enings*<sup>5</sup>, — особенно близка она была с О. С. Павлицевою, которая часто бывала у нее в свои приезды в Петербург. У А. О. Мусиной-Пушкиной бывал молодой Даргомыжский (1835) и вообще собиралось небольшое, но приятное общество. Вторично овдовев, Мусина-Пушкина, по-видимому, была не в блестящем поло-

<sup>1</sup> «соединены навеки» (франц.).

<sup>2</sup> Сестра их, Анна Францевна, была матерью графа П. А. Клейнмихеля. См.: Дельвиг А. И. Мои воспоминания. М., 1912. Т. 1. С. 96.

<sup>3</sup> Древняя и новая Россия. 1878. Т. 3. С. 273—274.

<sup>4</sup> Манзей К. Н. История лейб-гвардии Гусарского полка. СПб., 1859. Т. 3. С. 90.

<sup>5</sup> Пушкин и его современники. СПб., 1911. Вып. 15. С. 72; СПб., 1913. Вып. 17—18. С. 164, 167—169, 188, 201.

женин, и когда умерла, над ее именем было в 1875 г. учреждено в Москве опекуное управление, вызвавшее кредиторов и должников покойной<sup>1</sup>.

Графиня Екатерина Марковна Ивелич была близко знакома с семьей Пушкиных — родителей поэта, в том числе и с ним самим, — еще в конце 1810-х гг., когда, по выпуске из Лицея, поэт жил с родителями на Фонтанке, близ Калинкина моста. Рядом с ними проживали в собственном доме Ивеличи<sup>2</sup>. А. М. Каратыгина в записках своих вспоминает, как однажды Пушкин и гр. Е. М. Ивелич говели вместе в церкви Театрального училища на Офицерской, близ Большого театра, как Пушкин бывал у Ивеличей<sup>3</sup>; они, по-видимому, приходились Пушкиным как-то сродни; по крайней мере, в одном письме к брату Льву (1824) поэт писал из Михайловского: «Скажи сестре, что я получил письмо к ней от милой кузины гр. Ивеличевой и распечатал, полагая, что оно столько же ответ мне, как и ей — объявление о потопе, о Колосовой (впоследствии Каратыгиной. — *Б. М.*), ум, любезность и всё тут. Поцалуй ее за меня, т. е. сестру Ольгу — а графине Екатерине дружеское рукопожатие» (XIII, 123).

Графиня Ивелич, — с которою, как видим, Пушкин переписывался, — была тогда тридцатилетняя девушка (она родилась 50 июля 1795 г.); она была очень эксцентрична, как видно из дальнейших писем С. М. Дельвиг; в одном письме к мужу, от 18 января 1835 г., О. С. Павлицева, между прочим, сообщала: «Вчера Аничков обедал у нас со своею приятельницею Екатериною Ивеличь, которая с ним „на ты“, — как тебе это нравится! Из любви к ней он заказал ее портрет и портрет ее матери, т. е. портреты графинь Ивеличь...»<sup>4</sup> Отец ее, граф Марк Константинович, умерший 4 декабря 1825 г., был выходец из Иллирии или Далмации, состоял в русской службе с 1771 г. и дослужился до чина генерал-лейтенанта и звания сенатора; он отличался чудачествами, в молодости был страшно ревнив, любил играть в карты и всем, за весьма немногим исключением, говорил «ты»; женат он был на Надежде Алексеевне, рожденной

---

<sup>1</sup> Санкт-Петербургские ведомости. 1875. 30 сент. Прибавление, публикация № 4878.

<sup>2</sup> *Пушкин А. С. Письма* / Под ред. Б. Л. Модзалевского. Л., 1926. Т. 1. С. 98, 104, 369.

<sup>3</sup> Русская старина. 1880. № 7. С. 566—567.

<sup>4</sup> Пушкин и его современники. Вып. 23—24. С. 207.

Турчаниновой, богатой помещице Владимирской губернии, где ей принадлежали исторические села Нижний и Верхний Ландехи — некогда вотчина кн. Д. М. Пожарского.

О графине Е. М. Ивелич находим отзывы в воспоминаниях Н. С. Маевского, который рисует эту оригинальную особу как большую остроумицу. «Некрасивая лицом, она отличалась замечательным остроумием; ее прозвища и эпиграммы действовали, как ядовитые стрелы. До конца жизни осталась она в девицах и не любила, когда ее подруги выходили замуж»<sup>1</sup>.

Она умерла в Петербурге 7 мая 1838 г. Естественно, что Пушкин, который и сам был остер на слово и любил оригинальных людей, дружил с графиней Ивелич и находил интерес в ее обществе и в переписке с нею.

В одном из дальнейших своих писем к подруге (от 16 ноября) С. М. Салтыкова цитирует стихотворение Пушкина «К Морфею»: «Все спит в доме, — я тоже сейчас брошусь в свою постель, говоря, повторяя за Пушкиным:

Морфей, до утра дай отраду  
Моей мучительной любви;  
Приди, задуй мою лампаду,  
Мои мечты благослови.  
Сокрой от памяти унылой  
Разлуки страшной приговор и проч. и проч.»

А в другом письме, в припадке меланхолического настроения, Софья Михайловна приводит цитату из пушкинского «Кавказского пленника», применяя ее к себе:

Не много радостных мне дней  
Судьба на долю ниспослала;  
Придут ли вновь когда-нибудь?  
Ужель на век погибла радость?<sup>2</sup>

В следующих письмах много говорится о Плетневе и его отношении к ученицам — Салтыковой и Семеновой.

«Вот еще одно большое послание г. Плетнева, которое я тебе посылаю, дорогой друг. Он говорит тебе, что я на тебя жалуюсь. Ах! если бы он мог читать в моем сердце, если бы он знал то, что мне

<sup>1</sup> Исторический вестник. 1886. № 10. С. 333.

<sup>2</sup> Из письма от 12 февраля 1825 г.



известно, он, конечно, не считал бы меня способной на эту несправедливость. Да, несомненно, я ему жаловалась, но не на то, что ты мне нечасто пишешь, ты знаешь мой образ мыслей по этому поводу, и надеюсь, что ты не предполагаешь во мне такую низость чувств, чтобы верить, что я сержусь на тебя за это; да, я бранила тебя за то, что ты слишком поторопилась обвинить меня в забывчивости, и мне почти невозможно было изменить мнение г. Плетнева на этот предмет: он очень взял твою сторону; это меня укололо, и одну минуту я почувствовала гнев против тебя (до того его у меня не было, — я была только огорчена); тем не менее после довольно живого спора мы примирились и более друзья, чем когда-либо...»

«Ты напрасно огорчилась первым письмом Плетнева; однако я надеюсь, что то, которое ты теперь прочтешь, заставит тебя забыть твои мелочные опасения: разуверься, — он все тот же, он так тебя любит; он найдет очаровательным все, что ты ему скажешь, даже если это будут глупости (чего, я уверена, никогда не может случиться). Мы смеялись вместе с ним по поводу того, что ты говоришь о языке киргизов; правда, весьма удивительно встретить язык, в котором нет слов для выражения любви и дружбы; но твое замечание: „*Это мне показалось очень неловко*“<sup>\*</sup> восхитило г. Плетнева. „Он говорит, что это очень на тебя похоже и что, кроме тебя, никому в голову не может прийти такая мысль.“ Он говорит, что у него нет ничего, скрытого от меня, — потому-то-де он и не хочет ни за что запечатывать письма, которые он посылает через меня, и не может понять, почему ты запечатываешь твои письма. Не думай, что это я упрекаю тебя за это, — последнее было бы довольно глупо с твоей стороны.

„Она наблюдает, — говорит Петр Александрович, — какой-то этикет и думает, верно, что учтивее запечатывать письма. Скажите ей, что мы с вами об этом долго рассуждали и решили, что вместо этого конверта она бы могла написать две страницы лишних.“<sup>\*</sup> Так как я сегодня в ударе говорить о нем пространно, надо, чтобы я сказала тебе еще нечто, тебя касающееся. Мы беседовали о Синицыне, который о всех тех, которые покидают Пансион, говорит: „Христос с ними!“ Он спрашивает, говорил ли он то же и о тебе, и узнав, что, напротив, он очень сожалел о тебе, он сказал мне:

„Не понимаю, что это за девица, в ней что-то особенное, даже Синицын об ней жалеет. Она, как Орфей, одушевляет самые

камни“.<sup>1</sup> Не премину сказать ему, по твоему желанию, что ты больна, но надеюсь, что ты не замедлишь ему ответить»<sup>1</sup>.

«Надо, чтобы ты всегда выдумала какую-нибудь шалость, моя дорогая, маленькая Саша. Сначала я не поняла, что должно было значить письмо, которое ты мне послала, чтобы показать его г. Плетневу, и я сочла, что ты с ума сошла, когда читала в нем точно то же, что содержалось в другом письме в отношении книг, которые тебе прислал г. Плетнев, т. е. что ты нечто изменила в последнем, чтобы оно могло быть показано: но так как сперва я не поняла твоего намерения, это заставило меня много смеяться. “Ах ты, плутовка!” Я не премину доставить твое послание г. Плетневу; благодарю тебя за то, что ты, писавши его, избавила меня от смущающих благодарственных фраз, которые я должна была бы непременно ему говорить, так как ты ему ничего не пишешь по этому поводу. Кстати, я совершенно сконфужена тем, что он говорит тебе обо мне в своем письме: я не заслуживаю вовсе его похвал; он говорит, что я „идеал дружбы“, так как я к тебе привязана! Как будто не естественно тебя любить! И потом он очень добр, ставя мне в заслугу то, что я приезжаю повидать его: ты, как и я, знаешь, жертва ли это с моей стороны, и возможно ли не ездить повидать такого человека, как г. Плетнев, когда к тому же это можно делать, не вредя никому. Он уже давно говорил мне, что послал тебе книги, но я не писала тебе об этом, думая, что он сам тебе писал. Он сделал тебе подарок очаровательным образом, и то, что он написал тебе на книге, лучше и лестнее всех фраз в мире. <...> Г. Черлицкий в восторге от того, что относится до него в твоём письме; он очень тебя благодарит и радуется счастливой перемене, происшедшей в тебе. Я также очень этим довольна и хотела бы походить на тебя. Теперь я читаю „La Philosophie Divine“, соч. Фенелона, и это чтение производит на меня довольно сильное впечатление. Я молю Бога, чтобы он облегчил бы для меня способы самоисправления. <...> Что касается трех партий, которые тебе представлялись, то ты, конечно, хорошо сделала, что не приняла их; но если четвертая, — этот молодой Карелин, которого ты расхваливаешь, не ограничивается лишь любезностями, как ты говоришь, и если ты замечаешь, что он серьезно стремится получить твою руку, — почему ты будешь отказываться от мужа, который может совсем подходить тебе, судя по тому, что ты мне о нем

---

<sup>1</sup> Из письма от 21 декабря 1824 г.

говоришь. Ты тверда в своих убеждениях, скажешь ты мне опять, но я думаю, что это не причина, чтобы тебе не выходить замуж, ибо я полагаю, что ты не давала обета быть девушкой всю свою жизнь и что твоя маменька не была бы сердита видеть тебя устроенной. Ты говоришь, что время твоих шалостей прошло: да, но нигде не сказано, чтобы ты никогда никого не любила. Любить неистово, с поклонением, забывая все приличия по отношению к предмету твоей страсти, — конечно, безумство, и так именно ты когда-то любила, но истинная приверженность, основанная на уважении и рассудке, любовь чистая, спокойная, не такое, я думаю, чувство, от которого краснеют, и я не вижу, почему бы ты о нем могла жалеть...»<sup>1</sup>

О новом интересном знакомстве сообщает Софья Михайловна подружке в письме от 4 января 1825 г. — об офицере-музыканте бароне Ралле: это был известный впоследствии капельмейстер петербургских театров барон Федор Александрович Ралль, знакомец и отчасти сотрудник М. И. Глинки. «Несколько дней тому назад известный Ралль, молодой человек 22 лет, товарищ по службе моего брата, провел у нас вечер, — пишет Салтыкова. — Он большой музыкант и божественно сочиняет музыку; он дал мне толстенную пачку своих танцев, вариаций, фантазий и т. д. Они очаровательны! Мы попросили его играть на фортепиано, и так как он очень любезен, он только и делал, что весь вечер играл. Потом он начал просить меня дать ему что-нибудь послушать; я не хотела садиться за фортепиано, после него, но он настаивал, говоря мне тысячу комплиментов по поводу моего таланта, о котором он, по его словам, слышан; эти похвалы скорее обескуражили меня, чем ободрили... К тому же я видела его в первый раз, и его большие черные усы меня пугали, хотя и придавали ему красоты; однако, после многих церемоний, я должна была уступить его настояниям и в особенности строгому взгляду моего отца (который тоже прибавлял мне робости). Едва я положила на клавиши пальцы, как они стали холодны как лед и начали дрожать — до такой степени, что я не могла взять ни одной верной ноты; но я боялась остановиться, так как папа делал мне страшные глаза. Дрожа как лист, я сыграла полстраницы, хотела продолжать, но не была в состоянии, \*слезы в три ручья...\* Я желала бы быть на сто шагов под землю в эту минуту. Я не была еще тогда знакома с Раллем, не знала, что он снисходителен, добр

---

<sup>1</sup> Из письма от 28 января 1825 г

как нельзя больше, и смертельно боялась, чтобы он не стал насмехаться над моей робостью или застенчивостью. Я делала усилия удержать мои глупые слезы, которые текли все время. Тогда папá велел мне перестать, и после нескольких минут молчания Ралль догадался уйти. Уж тут-то мне досталось... Позавчера я была умнее, играла с Раллем в четыре руки. Правда, что я видела его уже четвертый раз и что мы играли танцы его сочинения, — но и это что-нибудь значит для меня».

В следующем письме она снова рассказывает о своем новом знакомце:

«Ралль, который, как ты знаешь, великий музыкант, приезжает довольно часто к нам, и мы вместе музицируем, он принес мне несколько пьес своего сочинения, которые мы играем в четыре руки. Он играет также и на кларнете и предлагает привезти ко мне ноты с аккомпанементом на этом инструменте, чтобы сыграть их вместе. Мне это очень нравится, я приобретаю вкус к музыке и часто слушаю хорошую игру: Черлицкого — всякий раз, что он приходит, — и барона Ралля, который играет с совершенством, а сочиняет еще лучше»<sup>1</sup>.

Возвращаясь к Плетневу, Салтыкова пишет:

«Я не говорю тебе больше ничего о том, что Плетнев еще пишет тебе обо мне в своем письме; я начинаю думать, что он считает своим долгом постоянно расхваливать меня потому, что его письма проходят через мои руки; однако это вежливость, от которой я его освобождаю от всего моего сердца, так как она только смущает меня, и я не знаю, как на него смотреть, когда я приезжаю повидаться с ним по прочтении его письма; для такой дикарки, как я, эти похвалы очень тягостны»<sup>2</sup>.

Тогда же рассказывает она и о новой встрече с графиней Ивелич, довольно ярко обрисовывая ее и отношение ее к Пушкину:

«Я в восторге от того, что ты читаешь „Историю России“ Карамзина, потому что и я ее теперь читаю. *Какая симпатия?* Это напоминает мне наши *симпатии симпатий*. Ты их помнишь? Кстати: я вчера провела очень приятный вечер: я говорила с одною очень умною особою о русской литературе и главным образом — о поэзии Пушкина. Эта особа очень связана с его сестрой и хорошо ее лично

<sup>1</sup> Из письма от 28 января 1825 г.

<sup>2</sup> Из письма от 12 февраля 1825 г.

знает; она обещала дать мне целую кучу стихов моего несравненного Пушкина, которые еще не напечатаны. Она, как и я, восторженно любит этого очаровательного поэта, и любит не только его стихи, но и его личность, и горячо вступает за него, когда слышит, что про него дурно говорят. Она назвала мне всех, в которых он был влюблен, а он начал влюбляться с 11-летнего возраста. В настоящее время, если я не ошибаюсь, он занят некоей кн. Голицыной, о которой он пишет много стихов<sup>1</sup>. У кого провела я этот вечер? Поверишь ли — у м-м Геннингс. С кем беседовала я? Снова поверишь ли ты? — с м-ль Ивелич, описание которой, довольно невыгодное для нее, я дала уже тебе в одном из моих писем. — Правда, я не ошиблась в отношении ее тона, который не очень-то мил; но я никак не предполагала, что у нее столько ума и такая благородная страсть к поэзии. Ужасно досадно, что у нее, из-за ее манер, вид мужчины. Она сама пишет русские стихи, и вовсе не плохие. Она очень приглашала меня прийти к ней, чтобы познакомиться с Ольгой Пушкиной, очаровательной особой, как говорят. Она уверяла меня, что Александр — вовсе не такой плохой человек, как о нем говорят, что этой репутации он не заслуживает, что он — очень добрый мальчик и т. д.<sup>2</sup> В конце концов она развеселила мою душу, я очень хотела бы, чтобы она оказалась беспристрастной и чтобы все, что она мне сообщала, была правда. В разгаре нашего разговора мы вдруг увидели, что приехало семейство Пещуровых, состоящее из самого господина Пещурова, маленького горбатого человека, педанта, подчеркивающего, что он говорит только по-французски<sup>3</sup>; его супруги, крупной, чопорной женщины, и их двух дочерей, из которых старшей — 7, а другой — 6 лет. Это вполне провинциальная семья, не имеющая себе подобной; он и она, сказав несколько слов, не нашли ничего лучше, как выказать познания своих маленьких педанток, которые прямо невыносимы; их воспитывают точь-в-точь так, как м-ме Жанлис хочет, чтобы воспитывали детей: вот плоды ее смешного сочинения «Adèle et Théodore» и всех тех, что она на-

<sup>1</sup> Это княгиня М. А. Голицына, рожд. кн. Суворова (см. о ней: *Пушкин А. С. Соч. / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1908. Т. 2. С. 572—573, 628—629, а также в работах М. О. Гершензона и П. Е. Щеголева*).

<sup>2</sup> «Elle m'a assuré qu'Alexandre n'était pas dutout si mauvais qu'on le dit, que c'est une réputation qu'il ne mérite pas, que c'est un bien bon garçon etc.»

<sup>3</sup> Он, как известно, вел наблюдение за Пушкиным во время его михайловской ссылки, по должности опочечкого уездного предводителя дворянства.

кропала на тему о воспитании. Сперва эти две малютки разодрали нам уши фальшивую игрою в 4 руки в течение доброго получаса; затем, о, верх смеха, они принялись говорить стихи, затем сцену из комедии, из которой никто не мог понять ни слова, потому что обе девочки говорят в нос, после чего отец велел старшей сказать одну сцену из „Тартюфа“ Мольера (очень это подходит для ребенка!). Мать попросила потом папашу спросить у них что-нибудь из географии, — и они рассказали нам, как попугаи, все губернии России, что на всех нагнало скуку. Но это еще не все: окончив экзамен, этим маленьким противным созданиям велели сесть с прочим обществом и вмешиваться в разговор; тогда наше терпение совсем лопнуло... Представь себе, что они пустились рассуждать обо всем, как можно было бы позволить рассуждать взрослым, — это еще могло бы быть смешно для молодежи [?]; они вставляли латинские слова в свои прекрасные речи, и наконец, когда их познания были высказаны, это очаровательное семейство распрощалось с обществом, сказав, что они должны отправиться еще в другое место, — очевидно, чтобы показать познания своих дочерей, которых они повсюду таскают с собою, как странствующих актеров. Мы очень хохотали с м-ль Ивелич и всеми над этими смешными личностями.

Ты, без сомнения, будешь удивлена узнать, что я была на маскараде во вторник *gris*; но это случилось совсем против моего желания: Клейнмихели пригласили меня приехать в их ложу, и папа посоветовал мне поехать, уверив, что это доставит мне удовольствие, так как я не имею понятия об этом маскараде. Однако я не получила там никакого удовольствия. В конце концов я увидела человека, которого я уже давно хотела видеть: это г. Поморский: он очарователен, так же как и его маленький Петр. Он исполнял трагедию „Женевьева Брабантская“, которую играли в последний раз. Говорят, что Семенова была в ней превосходна, но стихи ее не слишком хороши; это я знаю от Плетнева и от некоторых других лиц.

Чтобы рассеять себя, я перечитываю теперь то, что читала уже сто раз, — „Собрание образцовых сочинений“. Сегодня утром я открыла наугад один том с прозой, и вот что я прочла (нет ничего более соответствующего тому, что теперь происходит во мне): „Отчего сердце мое страдает иногда без всякой известной мне причины? Отчего свет помрачается в глазах моих, тогда как лучезарное солнце сияет на небе? Как изъяснить сии жестокие меланхолические припадки, в которых вся душа моя сжимается и хладеет? Неужели сия тоска

есть предчувствие отдаленных бедствий? Неужели она есть нечто иное, как задаток тех горестей, которыми судьба намерена посетить меня в будущем?» — И я теперь чувствую то же, что чувствовал Карамзин: у нас время очень хорошо, весна приближается, часто появляется солнце, — но меня теперь и солнце не радует\*»<sup>1</sup>.

Узнав затем, что брак А. Н. Семеновой с Григорием Силовичем Карелиным решен, Салтыкова поздравляла подругу и писала ей:

«Я говорила тебе, что солнце меня не радует, это правда, но письмо твое от 9 февраля так меня обрадовало, что я вскочила со стула, со всей своей слабостью, чуть не пролила чернильницу и начала прыгать от радости. Друг мой! Ты счастлива! Бог услышал мои молитвы!\* Я очень хотела видеть тебя вышедшею замуж за г. Карелина, который чрезвычайно мне нравится, — и вот мои желания исполнились... Как только я смогу выходить, я полечу в пансион, чтобы разделить радость с г. Плетневым. Будь уверена в моей скромности, желания твои будут исполнены, никто другой об этом не узнает; я скажу о том г. Плетневу со всею возможною осторожностью, ничье нескромное ухо не сможет уловить ни одной буквы из того, что я буду ему говорить, и рекомендую ему самому хранить тайну, которую он, конечно, будет строго оберегать до тех пор, доколе ты пожелаешь»<sup>2</sup>.

Когда затем вышла в свет первая глава «Евгения Онегина», Салтыкова не замедлила выслать ее подруге и писала ей в том же письме:

«Ты должна была получить „Евгения Онегина“. Не правда ли, что это — очаровательно! Может ли Пушкин сделать что-нибудь, что не было бы таким? Заметь особенно, как он отзывается о женских ножках; кажется, что он безумно влюблен.

Граф Хвостов успел уже написать стихи на наводнение; мне их обещали, но я еще их не имею, и мне цитировали два наиболее замечательных стиха; вот они:

Разрушились небес и бурных вод оплоты,  
И плавают вверх дном и судны, и елботы!\*

Как ты их находишь?»

---

<sup>1</sup> Из письма от 28 февраля 1825 г.

<sup>2</sup> Из того же письма.

В следующем письме Салтыкова пишет по поводу брака Семеновой с Карелиным:

«Вчера я видела г. Плетнева в первый раз после моей болезни; он поручил мне пожелать тебе всякого счастья, какого ты заслуживаешь; он очень доволен. Я дала ему прочесть твое письмо, но он желал знать больше подробностей о г. Карелине: статский ли он, или военный, почему он в Оренбурге, есть ли у него надежда уехать оттуда? Я тоже хотела бы это знать, но ничего такого не приходило мне раньше в голову, я думала только о вашем счастье и не задала тебе ни одного вопроса. Что теперь смущает нас — г. Плетнева и меня, — это что мы, может быть, не увидим тебя, не сможем наслаждаться вполне твоим счастьем, не имея возможности быть свидетелями его, потому что Гриша, впад в немилость у графа Аракчеева, не получит, вероятно, позволения приехать сюда, если же это не так, поспеши мне сказать о том, потому что этот вопрос меня мучит. Я показала твой портрет г. Плетневу, он находит его похожим, я сказала ему, что для того, чтобы он был совсем похож, необходимо было бы прибавить букли спереди. „*Неужели она в буклях? Не хочу!*“ При этом он сделал капризную мину, самую смешную, так что я не могла удержаться от смеха. Ты его узнаешь, не правда ли? Я еще сказала ему, что если ты не приедешь сюда, то надобно было бы, чтобы он повидал тебя с буклями, а он мне ответил: „*Ежели она сюда приедет с буклями, я уеду в Оренбург*“». Он был очаровательно весел и дал мне возможность провести два восхитительных часа. Он мне часто говорил: „Что-то наш г. Карелин теперь делает?“ Но у него есть одна излишняя деликатность, которую я не могла выбить ему из головы, — он просит тебя сжечь все его письма и больше не думает тебе писать, так как, говорит он, могут и самую невинную вещь в свете повернуть в дурную сторону; однако я думаю, что добьюсь того, что заставлю его написать, — особенно когда он получит от тебя письмо, — я уверена, что он на него ответит»<sup>1</sup>.

Держа подругу в курсе петербургских литературных новостей, Софья Михайловна сообщает ей (в том же письме) о только что появившейся поэме слепца-поэта — И. И. Козлова:

«Г. Плетнев прочел нам поэму Козлова „Чернец“, отрывок из которой находится в „Северных цветах“. Она теперь вышла в свет це-

---

<sup>1</sup> Из письма от 11 марта 1825 г.



ликом, и я уверена, что она у тебя будет; держу пари, что она тебе понравится; это восхитительно; есть места, которые я не могла слушать без слез на глазах. Поэма „Войнаровский“ также напечатана, но еще не продается; я ее не читала.

Моя ипохондрия очень уменьшилась, — пишет она далее, — но желание покинуть Петербург и свет, с тем чтобы провести всю свою жизнь в деревне, не покидает меня. В следующем году, я думаю, мы уедем, не знаю еще куда: папá мне это обещает. Дай бог, чтобы он сдержал слово! Я не могу быть здесь, я не создана для света, я — совершенная мебель, бесполезная в обществе; моя дикость увеличивается день ото дня, я больше не умею сказать слова, все мои ответы так глупы, что мое собственное самолюбие от них страдает страшнейшим образом. Г. Плетнев должен считать меня глупою, как осел, потому что я дичусь даже с ним... Мужчины так злы, что внушают мне непобедимый страх, от которого я не могу себя защитить даже по отношению к добрым. Не знаю, откуда мне приходят эти мысли, но я всегда думаю, что светская злость доходит до того, что истолковывает в неблагоприятную сторону или выворачивает в смешную всякое слово, которое она слышит».

«Ты не можешь себе представить, как я страдаю! И это мой отец, который причиняет мне столько огорчений (совершенно помимо желания). Вот уже 8 дней, что он в состоянии, внушающем мне тревогу: никогда еще у него не было такого жестокого припадка ипохондрии, как теперь. Он не спит, ничего не ест, говорит только о смерти, а иногда в течение целого дня не говорит ровно ничего, несмотря на все, что я делаю для того, чтобы его развлечь хоть немного от его мрачных мыслей; иногда он очень ласкает меня, но говорит все время только о смерти. Он видимо изменился, стал бледен и худ, глаза у него блуждающие; быть может, это мне только кажется, но его взгляд, особенно сегодня, меня очень беспокоит; я с великим трудом удерживаюсь от слез, — вот уже два часа, — глядя на его ласки, которые он мне давал; он никогда не давал их с такою щедростью; он совсем стал другой, каким никогда не был, я не узнаю его, я никогда не видала его в таком состоянии. Милый друг, я часто думаю о Батюшкове, я боюсь признаться самой себе в том, чего я боюсь для моего отца; но мысль об этом не покидает меня. Другая, еще более ужасная мысль часто терзает меня, — это если я потеряю моего отца. Ах, это тем более ужасно, что он стал мне дорог, как никогда. Чего бы не дала я, чтобы хоть немного облег-

чить его. Если бы мне представлялась теперь партия, — я думаю, я не приняла бы ее, как бы хороша она ни была: я не могла бы покинуть отца».

«Надо рассказать тебе об одном происшествии, случившемся восемь дней тому назад, которое служит предметом всех разговоров в Петербурге: дело идет о Федоре Батурине, муже Кати Дороховой (ты его видела, я думаю); однажды утром он отправился в казармы, чтобы сделать смотр солдатам, которых нужно было вести на ученье; вдруг приходят ему сказать, что один унтер-офицер, Соловьев, переведенный в полк, как пьяница и негодяй, не хочет идти на смотр; это — неповиновение, наказываемое очень строго начальством, но так как ты знаешь, что Батурин был скорее слишком мягок, чем слишком строг, — он приказывает позвать этого солдата и спрашивает его, не пьян ли он. Тот уверяет, что нет, между тем как сам шатается. Батурин приказывает только посадить его под арест; солдат подбегает к своей кровати, чтобы взять, как он говорит, свой платок; вместо того он берет из-под подушки большой нож и всаживает его Батурина в брюхо, и, не довольствуясь одним ударом, дает ему три и — перерезал ему кишки. Несчастливого раненого несут в лазарет и сообщают обо всем императору, который присылает Виллье, чтобы лечить его. Виллье объявляет, что рана смертельна и что Батурин не сможет прожить далее 10 часов вечера. Последний не упал духом, он попросил к себе священника и выказал много душевной силы и христианского чувства; попросил свидания с женой и ребенком, но побоялись, чтобы это не принесло вреда Кате и ее ребенку, которого она кормит; ей поэтому сказали, что муж получил апоплексический удар, но она об этом узнала, когда мужа не было на свете. Ее состояние ужасно, можешь себе представить. Лиза, которая очень привязана к своей сестре, также очень трогает своим состоянием. Саша Геннингс присутствовала при их горести, — она говорит, что это заставляет подыматься волосы на голове.

Другое убийство произведено в Москве. Игроки собрались в одном доме; четверо из них: Шатилов, Алябьев, Раич и Времов затеяли ссору, Времов получил пощечину от Алябьева, желая отомстить, он схватил его за шиворот; вдруг Шатилов и Раич берут сторону Алябьева и бросаются все трое на Времова, валят его и покрывают ударами, нанося их бутылками, стульями и всем, что попало под руку, и кончают тем, что убивают этого несчастного че-

ловека. Они спешат похоронить его, но убийство обнаруживают, и теперь они все трое здесь, содержатся в крепости; думаю, что уже начался суд над ними<sup>1</sup>. Вероятно, их лишат чинов и дворянства и сошлют в Сибирь, а солдата, убившего Батурина, расстреляют. Письмо мое наполнено страшными вещами: что делать, теперь ничего не слышно, кроме подобных историй.

Каково Государю услышать две таких истории вдруг! — Я послала г. Плетневу в Институт твое письмо, так как я его увижу только после Пасхи<sup>2</sup>.

«Не знаю почему, но я не люблю праздников Пасхи: дело в том, что они нагоняют на меня невыразимую тоску, — особенно в этом году я начала их более грустно, чем когда-либо. \*Ужасно грустно! Может быть оттого, что, как говорит барон Дельвиг,

*Скучно девушке весной жить одной.*

.....  
 Подгорюясь ли, присядешь у окна, —  
 Под окошком все так весело глядит  
 И мне душу то веселие томит.\*

Может быть также, что это последствие слишком большой веселости, в которой я находилась вчера у заутрени».

«Через восемь дней я рассчитываю повидать г. Плетнева», — пишет она далее, — я из этого делаю себе праздник. Кстати: „Полярная звезда“ вышла в свет; в ней очень немного хороших вещей, много скверной прозы Бестужева, которую, по-моему, невозможно читать. Этот человек нестерпим со своей аффектацией и своими претензиями на ум. Правда, что он не без него, но он плохо его употребляет в дело, желая заставить его слишком блеснуть. Он вполне оправдывает этот стих, ставший уже пословицей: *L'esprit qu'on veut avoir, gête celui qu'on a*<sup>3</sup>.

И потом он ввязывается судить о слоге всех решительно, между тем как его собственный — ужасающ. Он упрекает за галлицизмы, между тем как обороты всех его фраз — чисто французские. Нельзя писать хуже его: он так умничает, что у него ум за разум заходит. Впрочем, я уверена, что у тебя будет эта „Полярная звезда“ и ты

<sup>1</sup> Историю убийства Времева см. в статье А. В. Безродного «К биографии композитора Алябьева» (Исторический вестник. 1905. № 4. С. 166—170).

<sup>2</sup> Из письма от 23 марта 1825 г.

<sup>3</sup> Ум, который хотят иметь, портит тот, который имеют (*франц.*).

сама сможешь судить, справедливо ли мое мнение<sup>1</sup>. Во Франции тоже каждый год появляются альманахи; мой кузен Ломоносов, недавно приехавший из Парижа, привез мне один, за этот год: он просто жалкий, — наши во сто раз лучше составлены. Эти „Annales Romantiques“ (таково название этого альманаха) — не что иное, как куча величайших глупостей и самых плохих стихов, какие только когда-нибудь были на свете. Только одна-единственная пьеса оказалась мне довольно хорошей, я ее переписала и посылаю тебе<sup>2</sup>; в отделе прозы я ничего не нашла хорошего, тем не менее я переписала для тебя один отрывок о любви; потому что ты — влюблена, ты, конечно, найдешь, что все это верно<sup>3</sup>.

Петр Иванович Полетика, которого я видела вчера, поручил мне напомнить его твоей памяти<sup>4</sup>; мы долго говорили о тебе с ним, он задал мне тысячу вопросов о тебе и говорил, что очень интересуется всем, что тебя касается. Не подумай, что я ему сказала, что ты выходишь замуж, — я никому ни слова не говорю об этом и тщательно буду хранить тайну до тех пор, пока ты не позволишь сказать о ней. Петр Иванович сделан сенатором<sup>5</sup>.

«Дела Саши [Копьевой] совсем не подвигаются, тем не менее есть много лиц, которые интересуются ею. Якимовский прилагает наиболее усердия, но он теперь в Царском Селе и может приезжать сюда только изредка на короткое время. Она познакомилась с Рылеевым (поэтом), который тоже взялся ей помогать; у него теперь ее бумаги; не знаю, что из этого выйдет, но что хорошо, это то, что Рылеев предлагает ей одолжить ей денег, так как они совершенно необходимы для того, чтобы продвинуть дело. Я провела день в пансионе с Аннет Елагиной, которая выходит замуж за некоего Орлова, секретаря Нарышкина»<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> Любопытное суждение о Бестужево-Марлинском и его критических статьях и повестях; в «Полярной звезде» на 1825 г. им помещены: статья «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 г.» и повести «Ревельский турнир» и «Изменник».

<sup>2</sup> При письме, на листке, переписано стихотворение Guiraud «Ma retraite» («Моя отставка»).

<sup>3</sup> На том же листке небольшой отрывок из Benjamin Constant: «Charmes de l'amour, qui pourrait vous peindre?» («Чары любви, кто смог бы вас описать?») и т. д.

<sup>4</sup> П. И. Полетика — один из арзамасцев, известный дипломат.

<sup>5</sup> Из письма от 30 марта 1825 г.

<sup>6</sup> Из письма от 21 апреля 1825 г.

«Ты спрашиваешь у меня стихов Хвостова, — пишет далее Салтыкова, — но я не могу прислать их тебе, потому что Норов, обещавший мне их, до сих пор мне не дает их. В первый же раз, как я увижу его, я ему напишу об этом крупными буквами на большом куске бумаги и надеюсь, что тогда он, несмотря на свою рассеянность, не забудет своего обещания...»

В одном из ближайших писем она снова пишет по этому поводу:

«Вчера я видела Норова, и моею первою заботою было побранить его за стихи Хвостова; он уверял меня, что он их разорвал по рассеянности, но в то же время обещал мне их принести; в ожидании он сказал мне на память несколько стихов из этой пьесы, но я могла удержать в памяти только один — о Екатерингофе, который также очень был поврежден наводнением. Вот он:

*Екатеришин уж водой покрылся Гоф*

Он знает огромное количество басен Хвостова, — одна красивее другой; есть одна, начинающаяся так:

Жил-был елбот,  
Который перевозил народ  
От Пантелеймона к Михайловскому замку.

Или другая:

Жила-была корова,  
Как бык здорова.

Или третья:

Однажды —  
Шел дождь дважды!<sup>1</sup>

«Г. Плетнев показал мне столько дружбы, что я не знаю, как доказать ему мою признательность; ты знаешь, что у него в руках был твой портрет, так вот он держал его в течение более двух недель, и когда я его у него опять спросила, он вернул мне его с копией, которую он заказал для меня. Это внимание меня восхитило, — не правда ли, он очарователен. \*Я с ним очень подружилась и даже рассказала ему все свои происшествия,\* он все знает, очень хорошо понимает меня. Он ведет себя со мною как истинный друг и дает мне

---

<sup>1</sup> Из письма от 27 апреля 1825 г. Это не стихи Хвостова, а пародии на них арзамасцев: Вяземского, Жуковского и др. (Русский архив. 1866 С. 479—489)

самые лучшие советы; мы очень серьезно говорим о наших делах. Чем более я узнаю этого человека, тем более я ценю его; у него столько ума и благоразумия, что нечего бояться вполне положиться на него: он дает удивительные советы. <...> На этих днях я прочла „Alexis et Alis“ Монкрифа („Алина и Альсим“); я думаю, что ты не знаешь этого на французском языке; я нашла, что это очаровательно, исполнено наивности, которая восхищает; но перевод, как мне кажется, не уступает в этом оригиналу, — о чем ты можешь судить сама, так как я рассчитываю переслать тебе это к будущей почте, а может быть, и к этой, если у меня будет время»<sup>1</sup>.

В это время Салтыкова уже окончательно изжила свой роман с Каховским и у нее начинался новый — с поэтом Дельвигом, которого она знала уже давно со слов Плетнева, весьма, по-видимому, желавшего женить своего друга на Софье Михайловне. 21 апреля 1825 г. последняя писала:

«Я провела вчера день очень приятно в одном доме, который я с недавнего времени начала посещать, — это дом Рахмановых, молодоженов. Он сам — гусарский офицер, женившийся на дев. Лопухиной<sup>2</sup>, очень красивой особе; они живут у Кутайсовых; я думаю, что я тебе о них говорила. Они не бывают в большом свете, у них без стеснений, что меня очень устраивает. Что еще доставляет мне удовольствие, — это то, что барон Дельвиг — двоюродный брат г-на Рахманова и посещает их; однако в настоящую минуту его здесь нет: он поехал провести несколько времени у Пушкина. Я очень хотела бы познакомиться с ним, потому что он *поэт*, потому что связан с моим дорогим Пушкиным, с которым вместе он был воспитан, и потому что он — друг г-на Плетнева: вот три основания, которые ты найдешь, без сомнения, важными, так как тебе известен мой образ мыслей на этот счет. Г. Плетнев также очень хочет, чтобы я познакомилась с Дельвигом, и я надеюсь, что это желание вскоре исполнится, так как его ожидают сюда на этих днях».

<sup>1</sup> Из письма от 21 апреля 1825 г.

<sup>2</sup> Анна Александровна Рахманова, рожд. Лопухина, «коллежская ассесорша», ум. 5 мая 1830 г. (Донской монастырь); ее муж — Николай Федорович Рахманов (род. 11 июня 1798 г.), служил в лейб-гвардии Гусарском полку (1819—1827), из которого вышел в отставку штабс-ротмистром; овдовев в 1830 г., женился вторично на графине Анне Владимировне Васильевой. Он упоминается в приписываемой Пушкину «Молитве лейб-гусарских офицеров» (Пушкин и его современники. Вып. 17—18. С. 11)\*.

И действительно, знакомство молодых людей вскоре состоялось.

«Может быть, я напишу тебе из Царского Села, — пишет Софья Михайловна 14 мая 1825 г., — я туда отправляюсь послезавтра, чтобы провести несколько дней у г-жи Рахмановой. Кстати, я познакомилась с Дельвигом у нее; он привез от Пушкина продолжение „Евгения Онегина“ и читал нам его; это очаровательно; там есть детали еще более верные и более комические, чем в первой части; каждый стих достоин того, чтобы быть удержанным в памяти, это поистине восхитительно. Онегин поселился в деревне своего дяди, которого он похоронил и которого он является наследником; описание его деревенских соседей — верх естественности и в высшей степени комично [drôle]. Невозможно иметь больше ума, чем у Пушкина, — я с ума схожу от этого. Дельвиг — очаровательный молодой человек, очень скромный, но не отличающийся красотой мальчик; что мне нравится, — это то, что он носит очки, — это и тебе должно также нравиться<sup>1</sup>. Так как он часто ездит в Царское Село, м-м Рахманова поручает ему свои письма ко мне, а я передаю ему мои ответы, которые он относит в точности. Таким образом он был у нас уже три раза и познакомился с моим отцом, который им очарован. Представь себе, что Плетнев рассказывает ему решительно все, так что Дельвиг вполне знаком с нами — с тобою и со мною. Он спросил меня, получаю ли я известия от моей подруги, которая прозывается *Зарема*, затем сказал мне, что я каждый вторник езжу в пансион, — одним словом, он все знает, благодаря г. Плетневу, несмотря на это, я продолжаю откровенничать с последним: он слишком благороден, чтобы разгласить хотя бы даже своему другу чужие секреты, особенно когда его просят хранить молчание. Спор, который у меня был по поводу него [Плетнева] и который сделал то, что он больше не называет меня иначе, как своим *ангелом*, произошел у Рахмановых с неким Никольским, вздумавшим критиковать его письмо о русских поэтах: я ему сказала нечто вроде того, что он — скотина, — так я была раздосадована его глупыми суждениями, но я тогда еще не видала Дельвига, он еще даже не приехал [от Пушкина], — не знаю, как Плетнев узнал об этом».

Новый роман С. М. Салтыковой развивался очень быстро, и уже через две недели она писала подруге своей в далекий Оренбург<sup>2</sup>:

<sup>1</sup> Жених А. Н. Семенов — Г. С. Карелин — также носил очки.

<sup>2</sup> Письмо от 26 мая 1826 г.

«Друг мой Саша. Давно я к тебе не писала, я думаю, что ты на меня очень сердита, — ради Бога помиримся, прости меня, ангел мой, и не приписывай молчания моего к холодности: я люблю тебя по-прежнему и желаю видеть более, нежели когда-либо. Саша! Саша! Как ты мне нужна! Я целую неделю провела в Царском Селе у Рахмановых, очень-очень приятно; третьего дня возвратилась в город и нашла письмо твое от 5 мая. Я собиралась писать тебе из Царского, но не удалось, потому что не могла быть одна ни минуты, притом же мы гуляли с утра до вечера, — мне всё хотели вдруг показать и не давали мне ни отдыха, ни сроку...» Я очень думала о тебе в Царском, — ты бы там блаженствовала; дом Рахмановых удален от модных кварталов, там не много прохожих, — совершенно как в деревне; под их окнами три каскада, которые я слушаю по целым вечерам с наслаждением, при свете луны; не могу сказать тебе, что я испытывала, — ты должна это понять. Мы ходили гулять в 10 и 11 ч. вечера в парк, который не очень далеко от их дома; там мы сидели на скамейку и слушали соловья; с нами был один поэт — это барон Дельвиг, который также провел восемь дней у Рахмановых; он сопровождал нас во всех наших прогулках и всегда давал мне руку. Мы вместе восхищались природою, он говорил мне стихи. Даже его проза — поэзия, все, что он говорит, — поэтично, — он поэт в душе. Я познакомилась в Царском с г-ном и г-жею Воейковыми (Светлана). Сам он — не поэт, хотя он и „делает“ стихи; это дурной человек [vilain homme], который делает свою жену очень несчастной, — она же очаровательная особа и очень интересная сама по себе, независимо от того интереса, который Жуковский внушил к ней во всех. Я видела у нее экземпляр „Чернеца“ Козлова, на котором он написал: „Милой моей, по сердцу родной Светлане“. Ты знаешь, что он слепец, — поэтому он это написал совсем криво. \*Мы с Дельвигом очень коротко познакомились, он очень часто у нас бывает: вчера был и завтра будет.\* Папа очарован им, — и есть от чего: это чудный человек, солидный, добрый; что касается его ума и познаний, — я не говорю уж о них, ты не должна в них сомневаться; его характер — такой же, как у Плетнева: у него та же веселость, те же очаровательные шутки. Петр Александрович очень завидует чему-то, — ты отлично знаешь, чему, — Рахмановы также только и делают, что говорят мне об этом; но я питаю только дружбу к нему [Дельвигу], и думаю, что скоро буду связана с ним так же, как с г. Плетневым. Уверяют, что у него ко мне больше, чем



дружба, но я этого не думаю. Мы часто говорим о тебе, он пламенно хочет познакомиться с тобою, просит меня постоянно не звать тебя *Зарема*, а хочет, чтобы ты была „*Дева гор*“; „это, — говорит он, — характер, гораздо более достойный вашей подруги, чем характер Заремы“. Он дал мне прочесть новые стихотворения Пушкина: „Подражания Корану“; это божественно, восхитительно; в скором времени это будет напечатано. Вот еще другие стихи того же автора; они напечатаны, и может быть, ты их знаешь, но на всякий случай посылаю их тебе: они очаровательны:

К \*\*\*

Мой друг, забыты мной следы минувших лет  
И младости моей мятежное течение...<sup>1</sup>

Четвертого июня Софья Михайловна спешила сообщить подруге важную новость:

«Я уверена, дорогой и добрый друг, что ты менее всего ожидаешь той новости, которую я тебе сообщу: я выхожу замуж — и притом за барона Дельвига. Как ты это находишь? Это устроилось довольно быстро; я ожидала этого, когда писала тебе мое последнее письмо, но сказала тебе об этом лишь наполовину, чтобы доставить тебе сюрприз; к тому же я не была уверена в согласии моего отца. Несколько дней тому назад, у Рахмановых (которые нарочно приехали в город), Антоша [Antoine] сделал мне признание, на другой день (31 мая) его кузен Рахманов приехал, чтобы поговорить с папá, который, ни минуты не колеблясь, дал свое согласие, потому что, как он мне потом признался, он уже давно догадывался о намерениях Дельвига и все время наводил о нем справки везде, где могли их ему дать. Убедившись, что репутация его превосходна и вполне соответствовала тому выгодному впечатлению, какое он сам составил о нем, он не воспротивился моему счастью. 1 июня моя судьба была совершенно решена, Антоша пришел к нам, и мой отец нас благословил. Ты не можешь представить себе моего счастья, Саша! Как я его люблю! И кто только может не любить его! Это — ангел! В течение трех дней он у нас с утра до вечера, в моей комнате, с глазу на глаз. Нет, мой друг, — ты одна можешь понять меня, мне нет надобности давать тебе отчет в том, что я переживаю, — ты

---

<sup>1</sup> Стихотворение переписано все до конца; оно напечатано было в «Новостях литературы» (1825. № 3).

сама должна это знать, так как ты сама это почувствовала и чувствуешь, да к тому же этого невозможно описать. До сих пор я не могу поверить тому, что со мной произошло, мне это кажется сном, я еще вся взволнована; ты извинишь меня, что я не пространно пишу тебе сегодня: уверяю тебя, что я не в состоянии сделать это, и к тому же мой друг совсем не дает мне для того времени. Теперь он вышел от меня по делам и через полчаса вернется, — и я пользуюсь этим, чтобы сообщить тебе о моем счастье. Я нахожусь на третьем небе, дорогой друг, я не знаю, как благодарить бога, я не заслуживаю того, что он для меня делает. Я полюбила Антошу со второго раза, что я его увидела, но не сказала себе этого, так как не знала его еще, т. е. я не смела признаться в этом самой себе. Он же говорит, что полюбил меня еще раньше, чем узнал меня: г. Плетнев и Рахмановы прожужжали ему уши мною. \*Нас помолвили в понедельник, — и так я на другой же день могла видеть Петра Александровича; он уж все знал; надобно было видеть его радость: он всегда желал, чтоб я вышла за Дельвига.\* Мы говорили о нем в течение всего класса, не называя, однако, его, так как папа не хочет так скоро об этом объявлять; тем не менее вчера все наши знакомые уже знали об этом, так как в Петербурге ничего нельзя скрыть: это как будто в маленьком городке; поэтому папа уже не старается отрицать это и говорит решительно всем. М-м Шрётер плакала от радости (как она говорит), узнав эту новость: *как она меня любит!* Слезы ей ничего не стоят... Я получила твое письмо от 13 мая позавчера, мой бедный друг. Ты тогда была очень грустна по случаю отъезда Григория; я понимаю твою горесть: если бы я должна была разлучиться с Антошей, не знаю, что случилось бы со мною. Это для твоего и своего блага он делает это путешествие, — постарайся думать о том почаще и не забывай, что по его возвращении вы соединитесь, чтобы никогда больше не разлучаться...»

Начавшийся так радостно и протекавший вначале безоблачно роман одно время омрачился: отец Салтыковой, страдавший «ипохондрией», вдруг было воспротивился браку дочери, поверив каким-то сплетням о Дельвиге<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Письма и записки Дельвига к невесте, написанные, в числе 25, между началом июня и концом октября 1825 г., напечатаны М. Л. Гофманом в «Сборнике Пушкинского Дома на 1923 год» (Пг., 1922. С. 78—96).

«Прошу тебя продолжать держать в секрете то, что я сообщу тебе о положении наших дел, — пишет она 5 июля. — У меня большое огорчение, мой друг, — и это огорчение происходит от моего отца; но я не виню его, потому что он ипохондрик, больной; у него черные мысли, которые его мучат, он от этого страдает и потому достоин сожаления; тем не менее я также очень страдала: ты знаешь, что он ни мало не противился моему браку, — наоборот, казалось, что он очень ему рад, и первый сказал мне все хорошее, что только возможно, о моем Антоше. Прекрасно; но это продолжалось недолго: одно чудовище злобы, или, скорее, одна подлая сплетница, которую я ненавижу, потому что она того недостойна, но которую я не могу себе запретить презирать, т. е. м-м Бер [Baer] воспользовалась состоянием слабости, в котором был мой отец, чтобы заставить его поверить всевозможным гадостям насчет Антоши, и мой отец, зная ее проекты, состоящие в том, чтобы женить на мне своего сына, и много раз говорив мне о нем с презрением, проявил непоследовательность и придал веру сказкам, которые она выдумала, очевидно, из интриги и чтобы достигнуть своих целей, тем более что все говорят хорошо об Антоше, исключая ее! Я не буду рассказывать тебе о всех ужасах, о которых она говорила про него, — это было бы очень длинно, но факт в том, что с того времени мой отец надулся на него и решительно не желает его видеть, позволяет ему приходить ко мне с условием, чтобы он не показывался ему. Я не говорю Антоше всего этого в подробности, но он знает, что папá не любит часто его видеть, и приписывает это отчасти капризам его болезни, что и я делаю, чтобы утешить себя; но как только я одна с моим отцом, он начинает говорить мне дурное об Антоше, — до того, что я начинаю плакать горячими слезами и просить его скорее отказать ему, чем беспрестанно повторять мне, что я выхожу замуж против его желания. Он отвечает мне на это, что он не хочет ему отказывать, потому что он знает, что он честный и добрый человек, который сделает меня счастливою, и что он не верит ничему из того, что ему говорят на его счет, но что он не может любить его, потому что он ему не симпатизирует; наконец, добавляет он: что тебе до того, что он мне не нравится, — лишь бы он тебе нравился; это тебе придется проводить свою жизнь с ним; что касается меня, то я не люблю его общества, и постараюсь видеть его как можно реже; ты должна была заметить, что я его избегаю теперь, и когда вы поженитесь, я предполагаю уехать отсюда или, если останусь, я не часто

буду приезжать к вам; ты можешь приезжать ко мне время от времени с твоим мужем, но чаще — одна. \*Каково мне это все слышать, Саша! Не правда ли, что отец мой сделался очень странен? Характер его совершенно переменялся;\* он только и делает, что сам себе противоречит, как ты видишь, и я не знаю, что делать, чтобы угодить ему; я положила молчать, когда он начинает говорить со мною подобным образом. Это его болезнь причина его капризов, а отчасти — м-м Бер, хотя он и уверяет меня, что ей не верит. Говорить ли тебе это, Саша? Мой отец до того переменялся, что именно он был причиною моего долгого молчания по отношению тебя. Его крестьяне не были исправны в этом году, а он так слаб, у него такие черные мысли, что по малейшему поводу он испускает громкие крики и из мухи делает слона; он вообразил, что мы в нищете и что мы все умрем на соломе; при этом он делает мне упреки за то, что я хотела писать к тебе; он возомнил, что я больше не в состоянии этого делать столь часто, как некогда, и что я должна буду лишить себя этого удовольствия, потому что выйду замуж за человека, который не богат. Как ты это находишь? Антоша, которому я решила все рассказывать, так как не хочу иметь ничего скрытого от этого несравненного человека, — скорее ангела, которого я люблю больше жизни, — Антоша с этой минуты обязуется доставлять к тебе мои письма так, чтобы отец мой ничего о них не знал, и я буду писать тебе столько, сколько захочу; я не боюсь, что этим я злоупотреблю добротой Антоши; я смотрю на него, что он — другая я сама; к тому же он любит тебя сверх всякого выражения. Я не передаю тебе ничего от него, так как он рассчитывает сам написать к тебе, если ты ему позволишь... Несколько дней, слава Богу, моему отцу гораздо лучше, он даже не говорит со мною больше обо всем этом и иногда выдается с Антошей, но никогда более четверти часа; Антоша больше не приходит проводить целые дни у нас, то есть редко, но по большей части он приходит в 4 часа после обеда и остается до 9 часов вечера. С ним забываю я все мои горести, мы даже часто очень смеемся вместе с ним. Как я люблю его, Саша! Это не та пылкая страсть, которую я питала к Каховскому, привязывает меня к Дельвигу, но это чистая привязанность, спокойная, восхитительная, \*что-то неземное\*, и любовь моя увеличивается с каждым днем, благодаря добрым качествам, добродетелям, которые я открываю в нем; если бы знала его, мой друг, ты бы его очень полюбила, я в том уверена. Мы много говорим о тебе. Свадьба наша будет, я

думаю, в августе месяце, а может быть, в сентябре, что более вероятно. А когда будет твоя? Приехал ли Григорий?.. \*Боратынский здесь, Антон Антонович с ним очень дружен и привез его к нам;\* это очаровательный молодой человек, мы очень скоро познакомимся, он был три раза у нас, и можно было бы сказать, что я его знаю уже годы. Он и \*Жуковский будут шаферами у моего Антоши.\* Знаешь ли ты, Саша, что Антоша меня целует; должна тебе в этом признаться; я долго сопротивлялась, но наконец должна была уступить его настояниям. Он поцеловал меня в губы почти силком в первый раз; теперь я сама это делаю с наслаждением. И какое счастье говорить на „ты“; мы иначе и не говорим...»

Через две недели (20 июля) Салтыкова пишет:

«Мы читали твое письмо вместе с Антошей, он также очень чувствительно тронут привязанностью, которую ты ко мне проявляешь, и участием, которое ты принимаешь в моем счастье, дорогой друг. Ты довольна партией, которую я делаю? Твое одобрение для меня очень ценно, и если бы ты знала Антошу столько же, сколько я его знаю, ты бы поняла, как я довольна своим выбором. Я вполне убеждена в том, что буду счастлива: можно ли не быть такою с этим человеком, или, скорее, ангелом? Нравственные качества, убеждения, благородство его характера — верные для меня гарантии счастья, которое я ожидаю от союза, который я собираюсь заключить. Не говорю об его уме, об его приятных приемах в обществе: ты имеешь о них представление, потому что Плетнев тебе говорил о нем. Он особенно очарователен в совсем интимном обществе, так как он застенчив и по большей части молчит, когда много народу, но в кругу людей, которые его не стесняют, — он бывает очень приятен своею веселостию; я также люблю слушать его, когда он говорит о литературе; он иногда делает это, когда мы с ним вдвоем (а мы всегда одни), — и я всегда бываю очарована его вкусом, правильностию его суждений и его энтузиазмом ко всему тому, что поистине прекрасно. Надо было видеть его радость, когда он читал часть твоего письма, в которой ты говоришь о нем и о дружеском чувстве, которое он всегда внушал тебе: он выхватил у меня из рук твое письмо и перечел его несколько раз. Он непременно хочет писать тебе, если ты ему это позволишь.

Я очень довольна, что Григорий приехал и что он благоразумен. Да сделает Господь тебя такою счастливой, как ты того заслуживаешь, дорогой друг; ты много страдала в жизни и можешь надеяться

на счастливую судьбу. Ты не говоришь мне, когда будет твоя свадьба? Моя назначена на начало сентября. Ты права, дорогой друг, когда мы выйдем замуж и когда сделаемся *серьезными женщинами*, как ты говоришь, — наша переписка не будет больше прерываться и мы снова будем добрыми друзьями... Ты спрашиваешь у меня мой портрет, — он у тебя будет, добрый и нежный друг... прошу тебя подождать до моей свадьбы, — и тогда, наверно, у тебя будет мой портрет и даже *наши* портреты...»

Сближение между женихом и невестой, таким образом, продолжалось. В том же письме, из которого мы сделали выписку, находим указание на то, что Дельвиг дал своей невесте, такой горячей поклоннице Пушкина, на прочтение письма поэта к себе. К величайшему сожалению, Софья Михайловна не сумела сохранить эту драгоценную переписку своего мужа, — до нас дошла лишь ничтожная часть писем Пушкина, которых должно было быть очень много.

«Я очень забавляюсь, — пишет Софья Михайловна, — всю эту неделю чтением писем Пушкина к Антоше, у которого постоянная с ним переписка<sup>1</sup>; я хотела бы дать тебе прочитать эти письма, которые сверкают умом. Пушкин очарователен во всех видах, — в прозе так же, как и в стихах. Его брат, который здесь<sup>2</sup>, говорят, тоже очень умен; я надеюсь часто его видеть, когда выйду замуж; общество, которое я буду посещать, будет состоять из писателей; это восхищает меня: это именно тот круг, который я всегда желала иметь у себя, — и вот мое желание исполнилось. Что хорошо, это то, что у нас будут бывать только люди интимные, никого из великосветских, — друзья и добрые знакомые».

«Дела наши идут все так же, — пишет она через полторы недели, — мой отец продолжает не видеть Антошу, которого я люблю день ото дня все более и которого женою я жду не дождусь сделаться. Мне остается ждать и волноваться еще 6 недель; меня утешает то, что все это будет вознаграждено и будет иметь следствием целую жизнь счастья и наслаждений»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Одно из них — интереснейшее письмо от 2 марта 1827 г. — сохранилось до последнего времени среди бумаг С. М. Боратынской, при разборе их было найдено нами и опубликовано в 1923 г. в сборнике «Литературные портфели» (ср.: *Пушкин А. С. Письма. Т. 2. С. 27*).

<sup>2</sup> Лев Сергеевич Пушкин.

<sup>3</sup> Из письма от 30 июля 1825 г.

«Ах, я забыла полакомить тебя новыми стихами Пушкина, — пишет она далее, — вот они (это с турецкого):

Не стану я жалеть о розах,  
Увядших с легкою весной:  
Мне мил и виноград на лозах,  
В кистях созревший под горой,  
Краса моей долины злачной,  
Отрада осени златой,  
Продолговатый и прозрачный,  
Как персты девы молодой».

«Антоша с таким же нетерпением, как и я, ожидает получить известий о тебе и часто говорит мне: \*Что наша Саша не пишет к нам?\* (Это он тебя так называет, когда мы вдвоем, но у него нет недостатка в почтении к твоему титулу дамы), и каждый день, при входе ко мне, первую его заботою — спросить, не получила ли я письма из Оренбурга. Что за превосходный мальчик этот Антоша! Когда я подумаю о том, что стану его женою только через четыре недели, я становлюсь мрачной и мечтательной; мне кажется, что это слишком еще долго, что много перемен может произойти до того времени и что у меня слишком мало терпения, чтобы ждать так долго. Я объявила всем о твоём замужестве, — все им довольны. Александрина Геннингс тебя поздравляет и обнимает, Аннет Клейнмихель — также... Я еще не была во вторник в пансионе после окончания вакансий, но знаю, что г. Плетнев уже был там и что он чудесно разыграл удивление и неожиданность, когда м-м Шрётер пришла и сказала ему о твоём замужестве: он высказал крайнюю радость по случаю этого события и, видя ее противную мину, прибавил еще, что он в восторге, что твой муж — офицер, потому что, сказал он, статские не стоят военных (все это было сказано для того, чтобы рассердить ее, ибо ты знаешь ее образ мыслей на этот счет); она сказала ему (очевидно, чтобы его смутить), что его друг Дельвиг — статский. „Да, — ответил он ей, — к несчастью, он статский, и я сам также; но тем не менее я так думаю; я принужден сознаться, что мы ничто перед военными“. Она ничего не ответила и вышла с необыкновенным выражением лица; как только она повернула спину, весь класс покатился со смеху. Г-н Плетнев сейчас же рассказал об этом Антоше, поручив ему пересказать мне это»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Из письма от 9 августа 1825 г.

«У нас, так же как и у тебя, будет небольшой круг друзей и интимных знакомых; но что нас очень огорчает, это то, что мы обязаны остаться в этом отвратительном Петербурге. Правда, что немного времени после брака мы будем в отсутствии, но это будет лишь на два или на три месяца: мы поедem в Витебск, повидать родителей моего Антоши; я рассчитываю провести восхитительные минуты посреди его семейства, которое, говорят, очень дружно, хотя и очень многочисленно. Я отсюда уже вижу те ласки, которые оно мне расточит. Друг мой, у меня будет мать, — я вновь обрету это счастье, которого я лишена с самого детства... Антоша в восторге от того, что ты мне поручаешь обнять его; он пишет к тебе с этою почтою, и я жду, что он принесет ко мне свое письмо, чтобы прочесть его, так как бог знает что способен он наговорить тебе, а это заставило бы меня ревновать. Петр Александрович тебе кланяется; он часто проезжает мимо меня и останавливается, чтобы поговорить с нами. \*Напиши ему, — он с нетерпением ожидает письма от\* Madame Karelín»<sup>1</sup>.

В следующем письме своем, от 2 сентября, писанном «с оказией», Салтыкова рекомендует своей подруге лицейского товарища Дельвига и Пушкина В. Д. Вольховского, ехавшего в Оренбург по служебному поручению.

«Начинаю сегодня письмо мое рекомендацией одного молодого человека, которого я сама знаю только по отзывам других (понаслышке), — это некто г-н Вольховский, которого Антоша очень любит и с которым он воспитывался в Лицее; он говорит о нем бесконечно хорошо: этот молодой человек очень образован и полон достоинств. Я узнала только вчера, что он едет в Оренбург (\*т. е. он едет в Хиву и проедет через Оренбург\*), и — за несколько лишь часов до его отъезда. Я очень досажаю на это, так как я попросила бы его взять письмо к тебе; но ты видишь, что у меня не было на это времени, и я надеюсь, что ты извинишь меня. Он знает твоего мужа (наконец я узнала, что его зовут Григорий Силич; я не могла добиться узнать это от тебя, хотя много спрашивала тебя об этом: ты так рассеяна, что никогда не отвечаешь на все мои вопросы, хотя правда, что я иногда угнетаю тебя ими). Вольховский высказал много хорошего о твоём муже Антоше, что доставило мне бесконеч-

---

<sup>1</sup> Из письма от 20 августа 1825 г.



ное удовольствие, как всякий раз, что слышу похвалы тебе; между прочим, он говорит, что Григорий великолепно владеет даром слова, „что он говорит обворожительно, что он очень образованный человек и либерал“. Если я должна верить Антоше, я не должна была бы говорить тебе о Вольховском, как о знакомстве, которое тебе предстоит сделать, потому что он уверяет, что знакомство это уже будет сделано, когда письмо мое придет к тебе: он уверяет, что он будет в Оренбурге через 18 дней, — но я не верю ему. Прошу тебя, дорогой друг, смотреть на этого молодого человека, как на брата Антоши, так как он смотрит, как на братьев, на всех своих сотоварищей по Лицею, в особенности на хороших, как Пушкин, Горчаков, Вольховский и пр. Итак, надеюсь, что ты сделаешь ему хороший прием из дружбы к нам... Он, по поручению Антоши, передаст тебе наши приветствия; он обещал ему написать из Оренбурга и сообщить известия о тебе. Не знаю, почему ты медлишь дать их мне сама... Я привыкла получать от тебя письмо через каждые 15 дней; обыкновенно его приносят в субботу, — и в последнюю субботу мы с Антошей ожидали его целый день, но не были удовлетворены. Это нас очень огорчило. Почтальоны, как нарочно, целый день ездили мимо нас, и ни один не заехал к нам. Наконец Антоша надулся и ушел от меня в страшной хандре. Петр Александрович тебе кланяется; он говорит, что будет писать к тебе, когда я выйду замуж, а мою свадьбу, не знаю для чего, откладывают до октября; однако же это вздор: мы с Антошей и слышать не хотим об этом, собираемся буяннить и надеемся поставить на своем».

«Мой отец продолжает капризничать до крайней степени; я не понимаю этого человека и, при всем уважении, которое дочь должна питать к отцу, я не могу не заметить, что я никогда не видала [человека] более тяжелого для совместной жизни, чем он, и что у него самый несчастнейший характер. Он до того своенравен, что, я думаю, способен расстроить мой брак, протянув дело о нем более трех месяцев. Однако никакая власть в мире не добьется этого — это невозможно сделать, независимо от любви и неизменной привязанности, которые связывают нас, имея в виду волюности [?], которые мы позволили себе, и почву, на которой находимся с Антошей. Боже мой, я думаю, что никогда не увижу конца всего этого! К довершению мучений, нас еще угнетают со всех сторон советами; один говорит, что мы должны жить так, другой — что этак, — одним словом, каждый советует на свой образец, так что голова у нас кру-

жится, слушая со всех сторон глупости, которые нам преподают лица, вмешивающиеся в чужие дела. Амалия Ивановна одобряет квартиру, которую Антоша нашел, — Петр Иванович<sup>1</sup> не одобряет ее, потому что она не нравится моему капризному отцу, а ему она не нравится потому, что стоит 1500 руб.: он утверждает, что мы умрем с голоду, — между тем как мы имеем 10 000 р. в год. Между тем уж осень, все приезжают с дач и еще труднее найти квартиру; это приводит меня в ярость, — я бы удовольствовалась какой-нибудь дырой, как и Антоша, — но мы не одни, надо подумать и о прислуге, куда ее поместить, если мы не возьмем квартиры в 1500 р.».

Наконец помещение было найдено, — и в письме от 26 октября Софья Михайловна писала подруге: «Как только я выйду замуж, папá будет искать для себя другую квартиру, и письма не дойдут до меня, — а потому пиши: \*Ее Высокобл. М. Г. Баронессе Соф. Мих. Дельвиг — в Большой Миллионной, в доме Г-жи Эбелинг.\* У нас очаровательная квартира, не большая, но удобная, веселая и красиво обставленная. Я не дожусь, когда буду в ней с моим Антошей, моим ангелом-хранителем. 30-го числа этого месяца, в 2 часа пополудни, я стану его женой, т. е. через четыре дня, наверняка, — лишь бы какое-нибудь великое несчастье не поставило этому препятствия, — от чего сохрани нас Боже... Что беспокоит меня, — это то, что папа болен уже несколько дней: у него боли в нервах и спазмы. Он все очень несправедлив к нам, но сам он заслуживает жалости из-за своего столь несчастного характера. Дай ему Бог жизни, здоровья, счастья...»

Свадьба Дельвига и Софьи Михайловны состоялась 30 октября 1825 г. Плетнев приветствовал свою ученицу и невесту друга сонетом, напечатанным в «Северных цветах» Дельвига на 1826 г.; здесь он писал:

Была пора: ты в безмятежной сени  
 Как лилия душистая цвела,  
 И твоего веселого чела  
 Не омрачал задумчивости гений.  
 Пора надежд и новых наслаждений  
 Невидимо под сень твою пришла

<sup>1</sup> Полетика.

И в новый край невольно увлекла  
Тебя от игр и снов невинной лени.  
Но ясный взор и голос твой и вид, —  
Все первых лет хранит очарованье,  
Как светлое о прошлом вспоминанье,  
Когда с душой оно заговорит —  
И в нас опять внезапно пробудит  
Минувших благ уснувшее желанье.

Вскоре после свадьбы С. М. Дельви́г писала подруге в восторженном письме (6 ноября 1825 г.):

«Наконец вот я — счастливейшая из женщин, дорогой мой друг. Пишу тебе уже не из моей темницы на Литейной, а из кабинета моего дорогого Антоши. Я принадлежу ему с 30 октября. Наша свадьба совершилась, как я тебе уже говорила, без торжества, утром. Мы сделали много визитов, что меня вконец утомило, но, благодарение Богу, они все окончены, теперь их принимаю ежеминутно, и это также довольно скучно. Мне нечего говорить тебе, что я счастлива, да к тому же я не сумела бы выразить тебе то, что я чувствую. Ты должна меня прекрасно понимать, дорогой друг, и даже лучше меня самой, потому что я не могу хорошенько разобраться в том, что во мне происходит. Почему ты не с нами, мой единственный друг! Тебя не хватает для моего счастья, которое тогда было бы полным. Тебя всегда будет недоставать мне, дорогой друг, я люблю тебя еще больше с того времени, как я стала счастлива. Мой муж целует тебя с позволения твоего мужа, к которому я даю тебе такое же поручение. Я спешу написать тебе несколько слов, чтобы не откладывать этого удовольствия до следующей почты; но уже очень поздно, и письмо мое сейчас отправят на почту; ты не будешь на меня сердиться за то, что я не пишу тебе много. Вчера Антоша получил письмо от Вольховского, которое доставило нам чрезвычайное удовольствие. Он говорит о вас и дает интересную картину вашего домашнего счастья. Дай Бог, чтобы ты никогда не переставала быть счастливой. Очень благодари твоего мужа от меня: он сделал счастье моей Александрины, — лучшей из подруг. На этих днях мы предполагаем пригласить художника, чтобы исполнить обещание, которое я тебе дала. Прощай, дорогой ангел, будь благополучна, скажи тысячу нежностей от нас твоему превосходному мужу и всегда люби твою преданнейшую и искреннюю подругу Софью Дельви́г».

«Мой единственный друг, моя дорогая добрая Саша! — пишет она через неделю<sup>1</sup>. — Я имела счастье получить от тебя известие у себя. Ты не можешь представить себе, что я чувствую: невозможно быть более счастливой. Ты права, мой друг, — только покончив визиты и всю эту свадебную суету, вполне наслаждаешься; ничто не может сравниться со счастьем жить с тем, кого любишь больше всего на свете. Я люблю теперь Антошу совсем иначе, чем любила его, будучи невестой: это небесная любовь, божественная, это восхитительное чувство, которое я не могу определить, но которое ты должна хорошо понимать, находясь в таком же положении. Друг мой, какое это вознаграждение со стороны неба — добрый муж! заслужила ли я эту милость? Мне нечего более желать, — кроме свидетеля моего счастья... Мой муж обнимает вас обоих, он предполагает сделать приписку в следующем моем письме: сейчас это невозможно, потому что мы оба спешим; ему тоже надо написать множество писем, а почта отходит сегодня. Мы немного в твоём роде: мы по большей части забываем о времени отхода почты...»

«Я приобрела множество новых знакомств, — пишет она далее, — из коих лишь некоторые мне приятны, — это близкие знакомые моего мужа, как Козловы, Гнедич, Пушкин (Левушка, как его называют — это брат Александра), г-жа Воейкова, которую я уже немного знала, Лобановы (переводчик „Ифигении“ и „Федры“)<sup>2</sup>, все это славные люди, без малейших претензий. Слепой, интересный автор „Чернеца“, чрезвычайно понравился, он тронул меня своим сердечным приемом, он, поискав меня ощупью, схватил меня в свои объятия, расцеловал мне руки, говоря при этом самые трогательные вещи. Гнедич — человек с большим умом, Пушкин — мальчик 21 года, который так и кипит; он иногда заставляет нас много смеяться, — мы видим его почти каждый день. Один из наиболее приятных вечеров, которые я провела, был вечер у нас на прошлой неделе: у нас целый вечер были г. Плетнев, Пушкин и Туманский. Это был очень приятный маленький ужин. Мы много говорили о тебе с Петром Александровичем, живо сожалел, что ты не присутствовала на этом нашем собрании, которое давно уже было предметом наших

---

<sup>1</sup> Письмо от 16 ноября 1825 г.

<sup>2</sup> Михаил Евстафьевич Лобанов (1787—1846), писатель-поэт, библиотекарь Публичной библиотеки, член Российской академии (1828), академик Академии наук (1845), и первая жена его Александра Антоновна, рожд. Бароцци-ди-Эльса (1793—1836). — *Ред.* (1929).

самых приятных мечтаний. На этих днях мы обедали у г. Плетнева. Его жена — очень добрая особа, немножко *прозаическая* правда, но без претензий и церемоний...»

«Мой брат покинул нас дня три или четыре тому назад, так и не получив возможности повидаться с моим отцом<sup>1</sup>. Он очень меня огорчает, этот бедный Мишель: это поистине превосходный мальчик, полный чувства чести. Молодые люди страшно любят друг друга; письма Луизы очень нежны; она написала ему три письма в течение восьми дней его пребывания здесь. Мы проводили Мишеля до Стрельны, где и пообедали. Это маленькое путешествие стоило мне немного дорого. Был собачий холод в этот день, я схватила насморк, кашель и головную боль, которая продолжается у меня до сих пор, не покидая меня ни днем ни ночью, и заставляет меня очень страдать. Кроме того, я натворила много глупостей в Стрельне. Александрина Геннингс была в нашей компании, мы много пили шампанского за здоровье Мишеля, его Луизы и его путешествия; я на свою долю выпила больше 4 бокалов. Как ты это находишь? Под конец я пила уже насильно, чтобы выкинуть штуку, так как они смеялись, и это меня подзадоривало, а брат мой только приговаривал: „Ну, Софья Михайловна, за мое здоровье, пить так пить, гулять так гулять, дурачиться так дурачиться“». Возвращаясь в Петербург, я почувствовала себя очень скверно в карете, меня стошнило (с твоего позволения) в шляпу Антоши, а по возвращении домой у меня болели нервы»<sup>2</sup>.

Вскоре в Петербурге на Сенатской площади прогремели пушки: произошло восстание 14 декабря. Софья Михайловна узнала, что в нем участвовал ее поклонник П. Г. Каховский. Двадцать второго декабря она писала подруге:

«Саша, Саша, я с ума сойду, мое сердце слишком переполнено, я не знаю, что со мной будет, это несчастье слишком тяжкое, не знаешь, куда броситься. С другой стороны, я очень поглощена Антошей, который скоро заставит меня потерять голову от любви. Очень ошибаются те, кто говорит, что любовь бывает только перед браком: неправда — это вовсе не чувство дружбы, которое я питаю к

---

<sup>1</sup> Михаил Михайлович Салтыков влюбился в Луизу Гружевскую, дочь польского помещика в имении которого стояла часть Ольвинопольского полка, в котором он служил, и решил жениться на ней. М. А. Салтыков не соглашался на этот брак, который тем не менее состоялся.

<sup>2</sup> Из письма от 24 ноября 1825 г.

Антоше. Ах, мой друг, я горю, я люблю так, как никогда не думала, что можно любить, я люблю больше, чем любила до брака, я обожаю. Не знаю, что со мною происходит... Я сама себя иногда не понимаю. Уж не перед смертью ли это? Саша, не смейся надо мной».

«Я не могу писать тебе о том, о чем хотела бы поделиться с тобою: об этом надо *говорить*. У меня есть луч надежды увидеть тебя теперь, когда Аракчеев более не царствует. Ты узнаешь от Жемчужникова все, что произошло здесь и как случилось, что Николай на троне. Все, что я скажу тебе, это то, что сей ужасный день 14 декабря был причиной молчания, хранимого мною в течение многих почт, ибо все письма теперь распечатываются, а я не могла писать тебе, не сказав тебе мнения о том, что произошло; несколько дней даже вовсе не принимали писем на почту. В числе многих молодых людей, замешанных в это дело, находятся также Рылеев и Бестужев и бедный Кюхельбекер, которого я жалею от всего сердца, и все, не исключая Каховского, который принадлежал к их числу, находятся в крепости. Кюхельбекер еще не разыскан до сих пор. Дай Бог, чтобы не открыли, где он; должно быть, он не здесь, так как его тщательно ищут. Я трепещу, что его схватят. Мы были в большой тревоге в продолжение всех этих дней. Я рассчитываю написать тебе по почте через несколько дней, дорогой друг; я скажу тебе тогда все, что захочу сказать тебе и что может быть сказано по почте; теперь же я как в припадке лихорадки и не в состоянии писать даже к тому, кого люблю больше всего на свете...»

«Не пугайся этой мрачной бумаге, — начинает Софья Михайловна свое новогоднее письмо к подруге от 7 января 1826 г., написанное на листе с черною каймою, — это траур по императору Александру, — все теперь пишут на такой бумаге», и затем, после поздравлений, продолжает: «Ты должна была получить мое сумасшедшее письмо с Жемчужниковым. Мы много говорили о вас в тот день, что он обедал у нас. Это очень приятный молодой человек, кажется, он очень любит вас. Он расскажет тебе то, что мы поручили ему сказать вам. Умоляю тебя зрело подумать об этом с Григорием, и если этот проект покажется тебе подходящим, постарайся его выполнить. В настоящее время это вещь довольно легкая, или, по крайней мере, гораздо более легкая, чем во времена императора Александра. Я почти уверена, что Николай позволит вам вернуться сюда. Какое это счастье было бы для меня».

«Жемчужников много занимается немецкой литературой и любит ее больше, чем всякую другую; он сам больше немец, чем русский. Я спросила его, говорит ли он иногда по-немецки с тобою, а он ответил, что он даже и не подозревал, что ты знаешь этот язык. С такою скромностью, сударыня, вы забудете его, и это будет очень обидно. Я просила Жемчужникова говорить с тобою по-немецки, я сказала ему, что ты его очень хорошо знала и что я буду очень огорчена, если ты его забудешь. Между нами сказать, я очень похожа на черта, проповедующего нравственность, ибо я отличаюсь редкою леностью к музыке; я далека от того, чтобы иметь большой к ней талант; он мог бы сделаться таким, если бы я его развивала, а это как раз то, на что я не могу решиться. Каждый день я принимаю это решение, но прихожу в отчаяние при мысли о том, что уже потеряла большую часть своих сил; между тем чем больше откладываешь, тем больше потеряешь привычки играть; поэтому завтрашнего дня я сажусь за рояль и на этот раз сдержу свое слово, так как моя лень причиняет огорчение Антоше, а это, как ты хорошо знаешь, очень хороший повод, чтобы победить ее».

О своем времяпрепровождении Софья Михайловна пишет далее:

«Я только и делаю, что читаю Вальтера Скотта, помогаю мужу в его занятиях по „Северным цветам“, то есть переписываю стихи и прозу, которую ему доставляют, держу с ним корректуру и проч.; а чтобы отдохнуть, — сажусь к нему на колени, мы целуемся, сколько влезет [tant et plus], я — на третьем небе и благодарю Бога за мое счастье сто раз в день. Вечером у нас всегда кто-нибудь: завсегдаги — Лев Пушкин, князь Эристов — молодой человек второго выпуска из Лицея, очень забавный<sup>1</sup>, добрый Петр Александрович и Рахманов, наш кузен, который через два дня едет в Москву, — вот лица, которые приходят к нам чаще других. Гнедич — очень приятный человек, но он бывает несколько реже. Мы часто ходим к Петру Александровичу проводить вечера. Я никогда не бываю так счастлива, как у него. Его жена<sup>2</sup> немножко проза и даже немножко — дурная проза; но он показывает много уважения к ней, и все делают то же, чтобы не огорчить его. Это редкий муж, он несчаст-

---

<sup>1</sup> Князь Дмитрий Алексеевич Эристов (1797—1858), воспитанник Царскосельского лицея, второго курса 1820 г.; служил во II Отделении собственной е. в. канцелярии, потом в Морском министерстве и был под конец генерал-аудитором флота; известен как автор эпиграмм и шуточных стихотворений. — *Ред.* (1929).

<sup>2</sup> Рожд. Раевская, Степанида Александровна (1795—1839), первая его жена.

лив, нет сомнения, будучи помещен в круг людей, который ему немало не подходит, при его воспитании, уме, знаниях, любви к поэзии, ко всему, что поистине прекрасно. Его жена не понимает его, она очень добра, но ничего, кроме кухни, не умеет делать и по-своему понимает то, что делает и говорит ее муж, а это делает ее ревнивою; впрочем, она добрая особа, простая, верная своим обязанностям. Ее родственники (а их у нее огромное количество) почти в том же роде, как родные Александрины Копьевой, только лучше воспитанные, ты можешь по ним получить представление о плетневских. Я видела их почти всех у него в день именин г-жи Плетневой. Петр Александрович редко видит их у себя, но часто посещает их и питает к ним всевозможное почтение. Со всем тем он всегда весел, всегда доволен (по наружности), делает все возможное, чтобы скрыть недостатки и странности своей жизни, — одним словом, чем больше я узнаю этого человека, тем более я его уважаю. Не осуди меня, дорогой друг, за то, что я не посылаю тебе „Северные цветы“, они запаздывают выходом в свет из-за одной статьи Дашкова, которая заставляет себя ждать по причине лености автора. На этих днях они будут готовы, и ты их скоро будешь иметь. В них будет много хороших вещей».

Начало 1826 г. ознаменовалось выходом в свет, при непосредственном участии Плетнева, первого собрания стихотворений Пушкина. Софья Михайловна поспешила выслать книгу своей подруге и писала ей по этому поводу<sup>1</sup>.

«Ты должна была получить Стихотворения Пушкина: в них много пьес, которые ты знаешь, но есть также и новые для тебя. Подумай обо мне, читая их, как я думаю о тебе, когда перечитываю то, что мне особенно нравится. Я мысленно делю свои наслаждения с тобою и вижу отсюда удовольствие, с которым ты будешь читать эти прелестные вещи. Никто более тебя не в состоянии их чувствовать. \*Заметь „Сожженное письмо“ и „Ночь“; одно смотри в Элегиях, а другое в Подражаниях древним. Это прелесть необыкновенная. Еще из мелких его стихотворений восемь стихов, кажется, прекрасные: *Я верю, я люблю, для сердца нужно верить*\*. Что за чувство, что за стихи! \*Ничего нет принужденного: все прекрасно — послания его, элегии, Подражание Алкорану — прелесть. Сколько восхитительных минут доставляет мне этот *очарователь-Пушкин!*\* Скажи мне

---

<sup>1</sup> Письмо от 13 января 1826 г.



свое мнение о вещах, которые тебе больше понравятся. У Льва Пушкина изумительная память, он знает массу стихов на память и почти все стихотворения своего брата; он может прочесть поэтому „Цыганы“, с одного конца до другого. Это тоже одно из лучших его произведений; очень досадно, что он еще не думает его печатать. Мой муж в настоящий момент совсем не занимается поэзией, т. е. мы много занимаемся вместе чтением, но он не написал ни одного стиха в продолжение двух месяцев; это потому, что он был занят „Северными цветами“, которые скоро появятся, и потом одним делом, которое ему поручили в его Канцелярии; он только и делал, что писал. Теперь надеюсь, что он возвратится к своим *premières amours*<sup>1</sup>, т. е. к своей Музе; я хотела бы, чтобы она приходила навещать его почаще (ревность в сторону). Кстати, не могу помешать себе еще поговорить с тобою о Пушкине. Не пропусти пьесу, озаглавленную „Муза“, начинающуюся так:

В младенчество моем она меня любила...

Как ты ее находишь?»

«Ты меня спрашиваешь, как отец относится к нам; ты будешь, без сомнения, удивлена узнать, что он берет квартиру довольно близко от нас, что он приезжает повидать нас довольно часто, что обедает с нами, и когда мы пишем ему, чтобы узнать, как его здоровье, он отвечает нам „мои дорогие друзья“; он оказывает нам внимание, присылает нам время от времени разные вещи для хозяйства или маленькие подарки моему мужу, как, например, портфель (чтобы класть бумаги, разумеется) и т. д. Он очень хорош с Антошей и начинает даже размягчаться с Мишелем, мы даже слышали от него, что он более не будет противиться его женитьбе... Я покидаю тебя, чтобы написать еще множество писем, — между прочим, к старшей сестре моего мужа, молодой особе 17 лет, которая только что вышла замуж; надо ее поздравить, равно как папá и мамá, которых я очень нежно люблю; они пишут мне письма, полные доброты и нежности, которых я не заслужила и которые я не могу достаточно оценить. Прощай, дорогой друг, я очень побраню г. Плетнева от твоего имени, как и от своего: я увижу его завтра — потому что это суббота»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> К своей первой любви (франц.).

<sup>2</sup> Из письма от 22 января 1826 г.

«Прости меня, дорогой друг, за то, что я так долго тебе не писала: мой муж очень обеспокоил меня, сыграв со мною плохую шутку: он заболел, простудившись, и это могло бы иметь печальные последствия, если бы мы вовремя не позвали нашего врача<sup>1</sup>. Тем не менее у него была лихорадка, продолжавшаяся более 8 дней; теперь ему хорошо, но ему еще велено не выходить из комнаты, так как на улице все время холодно. Доктор признался нам, что он очень боялся, чтобы у Антоши не сделалось воспаление; это признание показывает, что больше нечего бояться, и всецело меня успокаивает... Твой муж написал моему мужу письмо, которое доставило ему большое удовольствие. Этот добрый Григорий любит нас так же, как и мы его. Антоша будет писать ему на этой почте и даст ему ответ относительно места, которое он хочет иметь здесь. Ответ неудовлетворителен, несмотря на все наше доброе желание и наши старания; но я ни в чем не отчаиваюсь и с удовольствием думаю, как мы будем когда-нибудь вместе и что день этот не так далек»<sup>2</sup>.

Узнав, что книга стихотворений Пушкина не дошла до Карелиной, Софья Михайловна писала ей 22 февраля:

«Ты меня страшно огорчила, сообщив мне, что Стихотворения Пушкина до тебя не дошли. Уверяю тебя, что я ничего тут не понимаю. Мы поручили книгопродавцу Сленину их тебе послать; он это и сделал, как говорит; но если он солгал, мой муж ему скажет, и во всяком случае у тебя будет твой экземпляр Пушкина через некоторое время, — ты можешь на него рассчитывать. Представь себе, что „Северные цветы“ еще не вышли, — что довольно неприятно для меня, — это, как кажется, я тебе говорила, по вине Дашкова, который довольно ленив; но теперь это уже не продлится дольше нескольких дней: он окончил свою статью»<sup>3</sup>.

Наконец Карелина получила затерявшуюся было книгу, написала о своем впечатлении и получила такой ответ:

«Очень благодарю тебя, добрый друг, за то, что ты думаешь обо мне, читая Пушкина, и что ты переносишься, как и я, в прошлые времена. У нас часто одни и те же мысли. По крайней мере это уте-

---

<sup>1</sup> Филипповского.

<sup>2</sup> Из письма от 10 февраля 1826 г.

<sup>3</sup> В письме от 8 марта С. М. Дельвиг опять досадует, что Карелина еще не получила Пушкина, и пишет, что Сленин давно выслал книгу.

шительно. Я в восторге, что ты наконец получила Пушкина, а то я не знала, чему приписать это запоздание... Не знаю хорошо, какой ответ дать тебе о произведениях Пушкина, которые не находятся в его собрании. Это был каприз с его стороны, и я не умею тебе сказать, подарит ли он нам когда-нибудь произведения, которые он у нас отнял. Он не счел их достойными того, чтобы быть напечатанными. Ты должна помнить прелестную маленькую вещь — „К Морфею“: она также не была допущена в Сборник, и Бог знает почему заслужила эту немилость, так как она вовсе не менее достойна Пушкина, чем столько других ее подруг, которым он даровал свою милость. Что тебе, конечно, будет приятно, — это что он хочет напечатать „Цыган“ и — вскоре. Он также только что закончил свою историческую трагедию о Борисе Годунове; это, как говорят, очень красиво. Мой муж читал часть ее в прошлом году, во время своего пребывания у него. Это такая трагедия, какие ты любишь, — т. е. вроде Шекспира и Шиллера — в ней нет ничего французского<sup>1</sup>.

В письме Софьи Михайловны от 8 марта 1826 г. находим следующую *притиску Дельвига* к мужу А. Н. Карелиной — Г. С. Карелину:

«Любезнейший друг Григорий Силич, очень благодарю за добрую весть об Вольховском. Он вам дорог, как друг, а мне, лицейскому его товарищу, как родной брат и друг. Когда-то увижу опять его и когда в первый раз обниму вас? Я бы сначала согласился на меньшее: мне бы хотелось не через три недели, а хоть через неделю получать от вас ответы. В теперешнем же положении письма наши похожи на монологи. С нетерпением ждем от вас докторского описания болезни милой Александры Николаевны. За две тысячи верст большой друг кажется в две тысячи раз большее. Мы все здоровы, надеемся летом еще быть здоровее. Это одно время в Петербурге, в которое чувствуешь, что живешь, а не изнемогаешь в тяжелом сне. Прощайте, поцелуйте ручки у вашего ангела. Любите

*Дельвига».*

Он прислал несколько слов к Карелиным и в письме жены от 14 апреля того же года:

«Поздравляю вас, милые друзья наши, с новой гостьей мира и с праздником Пасхи. Молю Планеты, под влиянием которых родилась

<sup>1</sup> Из письма от 25 марта 1826 г.

ваша Софья<sup>1</sup>, об ее счастии. Зная вас, знаю, каково будет ее сердце. Простите. Любите

*Дельвига».*

«Прошу низжайше прощения у моей очаровательной маленькой крестницы в моей неисправности, — писала Софья Михайловна 3 мая, имея в виду маленькую Софью Карелину, родившуюся незадолго, — до сих пор мне не было возможности поквитаться с нею; я не могу дать никакого подобного поручения моему мужу: \*Он прямой мужчина и ничего не понимает, а я не выхожу из дому уже четыре недели.\* <...> Наш бедный Плетнев очень страдает, — писала она дальше, — он очень худ и бледен, как говорят; целую вечность я его не видала. Ему советуют ехать на какие-нибудь воды, и я думаю, что он это исполнит. Жуковский тает на глазах, он также скоро едет на воды в Эмс или в Карлсбад. Карамзин не чувствует себя лучше, чем он. Он вскоре нас покинет также, чтобы ехать в чужие края. Гнедич не выходит из комнаты уже с давнего времени. Это горе. \*Если умрут, Гнедич не докончив Иллиады, а Карамзин — своей Истории, беда будет. Я познакомилась с Пушкиными, они недавно приехали из Москвы. Прекрасное семейство.\* Какая достойная женщина эта госпожа Пушкина, и Ольга, ее дочь, превосходная личность, которая любит своего брата Александра со страстью [avec passion]. Я их часто вижу, они без чванства [sans cérémonies]. Никто меня так мало не стесняет, как они. Как я ни дика, я познакомилась с ними очень быстро. Вальховский часто приходит повидаться с нами. Мы не теряем никогда случая поговорить с ним о вас. Какой славный молодой человек и как он выигрывает, когда его узнаешь. Когда он был в Лицее, товарищи называли его \*„Добродетель“\*, и я нахожу, что он очень заслуживает это имя. Чем больше его узнаешь, тем больше любишь. У него есть значительные достоинства, которые всех заставляют его ценить».

На другой день Софья Михайловна сообщала подруге ряд других новостей:

«Яковлев, один из лицейских товарищей Антоши, женится и всеми силами хочет, чтобы его жена стала моим *другом*; его невеста — некая Маргарита Васильевна Куломзина, которую я не знаю ни по Еве, ни по Адаму. Ольга Пушкина, которую я тебе расхвали-

<sup>1</sup> О ней см. в следующем письме и в конце настоящей статьи.

вала во вчерашнем письме, поистине превосходная девушка, которая мне очень нравится и с которой я очень хотела бы общаться, но у нее, несмотря на ее ум, — манья всегда искать себе *друзей*, которых она меняет почти так же, как рубашки. Ее мать хочет, чтобы мы тесно сошлись, но не думает о том, что для того, чтобы стать друзьями, нужны годы знакомства, и что не довольно сказать: *будем друзьями*, чтобы стать ими. Я читала одно письмо, которое Ольга получила от одной из своих интимных подруг из Москвы. При самых христианских чувствах и лучшем желании не оскорбить подругу этой доброй Ольги, не могу помешать себе думать, что это трогательное послание переписано из одного из этих скверных романов, самые патетические места которых всегда заставляют меня смеяться до слез. Боратынский пишет нам, что он женится; его невеста — барышня 23 лет, дурная собою и сентиментальная, но в общем очень добрая особа, до безумия влюбленная в Евгения, которому нет ничего легче, как вскружить голову, что друзья девицы Энгельгардт и не преминули сделать, чтобы ускорить этот брак. Я знаю эту молодую особу; мы выдались в Казани, а потом один раз здесь. Она пишет Ольге, с которой она также связана, что она хочет возобновить знакомство со мною и что она надеется, что мы будем очень любить друг друга, так как наши мужья нам дадут в том пример. Вот еще одна *интимная подруга*, которая свалится на меня как бомба после своего замужества»<sup>1</sup>.

Лето 1826 г. Дельви́ги проводили в Петербурге, ведя скромный образ жизни, посещаемые многочисленными друзьями, интересами которых живет Софья Михайловна все это время. Приводим несколько выдержек из писем ее за эти месяцы.

«Я была прервана моей кухней Геннингс, которая приехала обедать ко мне. После обеда ко мне приехало множество народу, — одни скучнее других, светские дамы, развязные, стеснительные. Ах, что за мученье! Что за модные разговоры, что за принципы, что за чувствования! Так я провела целый день, — я, совершенно отвыкшая от света в продолжение моей болезни! (Ты знаешь, что я не выхожу уже давно.) Наконец Пушкины пришли, они лучше других, хотя *Ольга* и делала кое-что, что раздражало князя Вяземского. Последний, например, человек, с которым я очень довольна, что позна-

---

<sup>1</sup> Из письма от 4 мая 1826 г. Жена Е. А. Боратынского — Анастасия Львовна Энгельгардт (1804—1860).

комилась. Он вчера пришел в первый раз к нам, и его присутствие меня немного оживило. Он очень тесно связан с твоим зятем<sup>1</sup>, который также должен был прийти, зная, что князь будет у нас; но он нас надул, что еще много прибавило к моему дурному настроению. Вяземский лучше своих стихов; он немного диковат, но это не мешает ему иметь много ума».

«Ты, без сомнения, с удовольствием узнаешь, что добрый Петр Александрович чувствует себя гораздо лучше, говорят, что он был на шаг от чахотки, но, слава Богу, он спасен. Я надеюсь, что зимою, т. е. по его возвращении из деревни, наши субботы возобновятся, — и это составляет мою отраду. Кстати, недели две тому назад мой муж встретил на улице Делина [Délin], — они знали друг друга уже давно, но Делин не видал Антошу женатого, — он сказал ему, что тоже хорошо меня знает и что просит позволения прийти повидать нас. Антоша просил его сдерживать свое слово, и тот его сдержал несколько дней спустя, но пришел в тот самый момент, как я была особенно больна...»

Описывая далее свою болезнь (захворала от ботвиньи со льдом), она пишет: «Мой муж бодрствовал около меня, не смыкая глаз, как и я; это ангел, которого я не знаю как обожаю; я никогда не забуду его забот, его беспокойства, всех доказательств его любви...»

«Не стоит благодарить меня, мой друг, за книги: я в восторге, что они доставляют тебе удовольствие. Дельвиг, говорят, очень польщен похвалою, которую ты сделала его Песням, и находит, что ты жестоко ошибаешься, думая, что он придает мало значения твоему мнению: напротив, он дает ему большую цену. Кстати, скажи мне откровенно, как ты находишь пьесы, под которыми стоит только буква *Д.* Мой муж стыдится в них признаться и не пожелал поставить под ними свое имя. Это неплохо, но дело в том, что я не знаю его мнения об этих пьесах и хотела бы знать твое мнение...»

«Я получила на этих днях письмо от моего брата, в котором он сообщает, что он женился. Итак, вот мы все устроились. Свадьба Боратынского также уже состоялась<sup>2</sup>.

Через две недели (в письме от 12 июля 1826 г.) она подтверждает последнее известие:

<sup>1</sup> Брат Г. С. Карелина — Василий Силич, характеристика которого дана в письмах Софьи Михайловны от 3 и 10 июня 1826 г.

<sup>2</sup> Из письма от 28 июня 1826 г.

«Боратынский женился, жена его написала мне милое письмо, на которое я несколько затрудняюсь отвечать, так как ее муж — близкий друг моего мужа, и так как я люблю его от всего моего сердца, она тоже не может быть для меня безразлична, но я вовсе не умею говорить фразы, а в таких случаях их немного приходится сочинять».

Последние строки писаны накануне казни декабристов, которая не могла не произвести на Софью Михайловну потрясающего впечатления: ведь на виселице погиб Каховский — человек, которого она любила и с судьбою которого готова была, так опрометчиво, соединить свою судьбу. Но жизнь брала свое, вскоре вошла в обычную колею. Уже в письме от 31 июля она спокойно сообщает очередные новости.

«Ярцев очень странный человек, — пишет она о знакомом, возвратившемся из Оренбурга, — он не мог удовлетворить ни одного моего вопроса. „Мне было некогда“ — вот его вечный ответ. Зато мы много говорим о тебе с Вальховским. Вот единственный в своем роде человек. Я не могу достаточно им нахвалиться, и люблю его, как брата».

«Я теперь чувствую себя очень хорошо, но мне еще не позволяют выезжать в карете; я прогуливаюсь по воде и пешком. Прогулки наши всегда бывают по ночам: днем невозможно ходить. Петербург невероятно скучен. Мы намереемся его покинуть. Антоша делает к тому шаги, но я еще не знаю, будут ли они иметь какой-нибудь успех; у нас до сих пор лишь желание исполнения наших проектов, но мы не смеем надеяться, из боязни увидеть наши надежды тщетными».

«О нашем добром Плетневе я могу дать тебе известия верные и свежие, так как я его видела вчера. Он чувствует себя в тысячу раз лучше и только слаб. Его радость вновь повидать тебя очень велика, — ты не должна в этом сомневаться. У него очень хорошее помещение в деревне; я сделала несколько верст пешком, чтобы повидать его, остальную же половину дороги сделала по воде: невозможно в лодке доехать до самого места, и это было настоящее паломничество для меня, я очень устала, что и естественно после того, что я высидела так долго. Но я зато провела восхитительный день. Послезавтра мы предполагаем снова совершить такое же путешествие»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Из письма от 9 августа 1826 г.

«Мне очень грустно, всего написать нельзя, только ради Бога не думай, что я несчастлива: я не знаю, можно ли быть более счастливой в браке, чем я. Мой Антоша — Ангел, который никогда не дает мне ни малейшего повода к жалобе; но существует так много других горестей в жизни, досад, огорчений, — однако лучше не будем об этом теперь говорить; ты знаешь, что я превеликая дура и что у меня пребеспокойный характер. Я думала, что ты будешь бранить меня, когда приедешь сюда. Твой Григорий очарователен со своею ревностью; я знаю, что он жестоко ошибается, но прекрасно понимаю, что он должен чувствовать, слыша разговоры о твоих былых увлечениях или глупостях: это очень неприятное чувство. «Это надобно спросить у меня.» Я бываю в отчаянии, когда Антоша говорит мне о некоторой Софье Дмитриевне<sup>1</sup>, которая уже давно умерла и которую он перестал любить задолго до ее смерти, когда он не имел обо мне никакого представления»<sup>2</sup>.

«Все эти дни мы были заняты поисками квартиры, так как срок нашей только что окончился; наконец, мы нашли ее, — вот адрес: на Владимирской, в доме купца Кувшинникова. Спешу сказать тебе несколько слов, так как мы в хлопотах переезда»<sup>3</sup>. Далее Софья Михайловна сообщала подруге радостную весть об освобождении Пушкина, который, как известно, был вызван в Москву, где произошла церемония коронации Николая I, и куда Дельвиг направил свое восторженное письмо с поздравлением друга и с припискою, что его «жена кланяется ему очень»<sup>4</sup>.

«Скажу тебе, друг мой, новость, которая верно порадует тебя. Пушкину позволили выехать из деревни и жить в столице. Как мы обрадовались! Вот что нам пишет один наш знакомый, который видел его в Москве: „П. приехал сюда 9 сентября, был представлен Государю, говорил с ним более часу и осыпан милостивым вниманием“<sup>5</sup>. Какое счастье! После 6 лет изгнания! Он приедет, по всей вероятности, сюда»<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Несомненно, известная С. Д. Пономарева, у которой собирался кружок писателей; о ней см. статьи бар. Н. В. Дризена в «Ежемесячных литературных приложениях к журналу „Нива“» (1894. № 5) и М. Н. Мазеева в журнале «Библиограф» (1892. № 12). Из ее альбомов — два в Пушкинском Доме, а третий в музее А. А. Бахрушина в Москве\*\*.

<sup>2</sup> Из письма от 16 августа 1826 г.

<sup>3</sup> Из приписки от 14 сентября на письме от 6 сентября 1826 г.

<sup>4</sup> См.: XIII, 295; ср.: *Пушкин А. С. Письма*. Т. 2. С. 183.

<sup>5</sup> Из той же приписки от 14 сентября.



Но Пушкин приехал еще не так скоро, хотя имя его время от времени мелькает в письмах Софьи Михайловны, как увидим ниже. Первого октября сам Дельвиг, в письме жены к А. Н. Карелиной, приписывал ее мужу следующие милые строки:

«Верно, я что-нибудь соврал без намерения, любезнейший друг Григорий Силич. Ничего другого не могу вспомнить, что бы похоже было на упреки в письме моем<sup>1</sup>. И за что? Кроме дружбы, драгоценной для меня, я не ждал ничего от вас. Приезжайте поскорее к нам, вы, узнав меня, не будете подозревать во мне и способности оскорблять друзей. Приезжайте поскорее, это одно успокоит нас. Мы не перестаем говорить о вас, молим у Бога свидания с вами и совершенного исцеления милой Александры Николаевны. Поцелуйте у нее ручку, а у Сониньки пока губки.

Весь ваш *Дельвиг*»\*.

В письме Софьи Михайловны от 25 октября имена Дельвига и Пушкина встречаются рядом. Письмо сообщает любопытную подробность о демократических настроениях Пушкина, пытавшегося внести простоту в форму письменных сношений, отбросив ненужную чопорность между близкими людьми:

«Ты будешь, может быть, удивлена адресом моего письма: я подражаю в таком способе писать Александру Пушкину, который всегда пишет моему мужу: „Барону Ант. Ант. Дельвигу“: он не ставит ни чина, ни „Милостив. Госуд.“. Он начинает писать так ко многим лицам, и есть некоторые, которые ему подражают. Я нахожу, что это очень хорошо: на что нужна эта немецкая вежливость, которая ничего не доказывает, и есть только детская церемония».

«Соломирский, который доставил письмо от тебя, еще не являлся у нас, но переслал нам его. Так как он поэт и так как он прибыл из Оренбурга, то я могу сказать тебе что-нибудь о нем. Я его однажды видела, давно уже, у моей кузины ех-Геннингс, — должно быть, это тот самый, он — брат брата Бахтуриных и нисколько на него не похож: у того — отвратительный тон, а этот — молодой человек очень „comme il faut“. Я надеюсь, что он сделает нам удовольствие и приедет повидаться с нами; я постараюсь принять его как

---

<sup>1</sup> Оно нам неизвестно.

можно лучше»<sup>1</sup>. Этот В. Д. Соломирский был давний знакомец Пушкина<sup>2</sup>, о котором в том же письме читаем:

«Кстати, мы ожидаем сюда Александра Пушкина, в конце этого месяца или в начале декабря. Вторая песнь „Евгения Онегина“ скоро появится, и я не премину послать тебе ее, так же как и „Цыган“, когда они будут напечатаны; что не будет так скоро, я полагаю».

Но и на этот раз Пушкин обманул ожидания Дельвигов: из Москвы он проехал прямо в Михайловское, откуда вернулся в Москву, опять не заезжая в Петербург; в Белокаменную его влекла любовь к С. Ф. Пушкиной, к которой он неудачно и посватался.

Продолжаем выписки из писем С. М. Дельвиг о ее друзьях и знакомых.

«Екатерина Маркович вышла замуж третьего дня. Я была посмотреть свадьбу в церкви... ее муж уже с седыми волосами, вдовец и отец 6 детей, из которых мальчик 13 лет... Не знаю, что заставило ее выйти за этого г-на Курочкина. Ольга Пушкина, которая ходила со мною посмотреть на свадьбу, находит, что он злой деспот и капризный; надо сказать тебе, что она бредит сочинением Лафатера о физиономиях, — она много его изучала, — и что ее страсть — распознавать характер всех по чертам лица. Она восхитительна и постоянно заставляла меня смеяться. Первые слова, которые она сказала, увидев Курочкина, были: „Боже мой, как этот человек зол по Лафатеру“»<sup>3</sup>.

«Что касается „Онегина“, то мне стыдно, что ты его прочла ранее, чем я тебе его прислала; прости мне это опоздание, моя добрая Саша, и прими его по крайней мере теперь; он приходит немного поздно, но что меня утешает, это то, что тебе его одолжили для чтения и что всегда хорошо, чтобы у тебя был свой экземпляр. Постараюсь в другой раз не запоздать с присылкою тебе новостей, которые будут появляться»<sup>4</sup>.

При чтении одного письма А. Н. Семеновой С. М. Дельвиг «не могла удержаться от смеха, вместе с Антошей, при описании мадемуазель Аннушки, которая так сильно похожа на Дуню Пушкина. Воображаю, какие физиономии сделали бы мы — ты и я, — если

<sup>1</sup> Из письма от 6 ноября 1826 г.

<sup>2</sup> В 1827 г. у них едва не вышла дуэль. См.: XIII, 327; *Пушкин А. С. Письма*. Т. 2. С. 33, 239—241.

<sup>3</sup> Из письма от 6 ноября 1826 г.

<sup>4</sup> Из письма от 6 декабря 1826 г.

бы увидали ее вместе. Пушкин как будто бы ее знал, — нельзя было нарисовать ее так верно. Кстати, у нас сегодня был некий г. Великопольский, брат г-жи Нератовой, о которой ты мне говорила в одном из твоих писем. Я знала его еще в Казани; он только что приехал сюда из своего полка, который стоит не знаю где. Разговаривая с ним, я узнала, что г. Нератова — его сестра, чего я не знала, так как я помню только одну его сестру в Казани. Он сказал мне, что поедет в Оренбург в феврале месяце, и просил меня снабдить его письмом к тебе, что я не премину сделать, если ты им интересуешься»<sup>1</sup>.

«Мой муж был болен в продолжение 15 дней и болен еще теперь немножко, так что праздники для меня начались нехорошо, но новый год начнется, я надеюсь, хорошо, потому что Антоше позволили завтра выйти. Его болезнь была не опасна, но он очень страдал и не спал ночи. <...>

У меня достаточно знакомых, общество многих из них очень приятно; но насколько лучше я чувствую себя наедине с Антошей или за письмом к тебе... Я приобрела несколько новых знакомых, единственно из-за музыки: ты знаешь, что я люблю ее до обожания, и так как эти лица — музыканты, они играют у меня раз в неделю очаровательные дуэты, трио и т. д. Отец мой пишет мне по этому поводу: „К счастью, ты женщина, не способная к страстным увлечениям, — иначе тебя не хватило бы для всех твоих знакомых“. Он совершенно прав. У меня резкое отвращение к таким внезапным дружбам или к таким страстным привязанностям на один день. Я ответила ему, что ему нечего за меня бояться, что у меня только одна-единственная подруга, в которой я так же уверена, как в себе самой»<sup>2</sup>.

«Антоша был опасно болен: у него было воспаление в боку и лихорадка, продолжавшаяся так долго, что я начинала бояться, чтобы это не была перемежающаяся лихорадка, но, благодаря Бога, он с нею разделался, однако он страдает очень сильным кашлем, который доставляет ему боль в груди и не дает ему спать, вместе с тем он не ест ни крошки хлеба уже 5—6 дней. Ты хорошо поймешь, что все это дает мне много беспокойства и горя»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Из того же письма. Об Иване Ермолаевиче Великопольском (которому Пушкин написал послание и с которым был в переписке) см. «И. Е. Великопольский» в наст. изд., а также в «Письмах» Пушкина, том 2, по указ.

<sup>2</sup> Из письма от 29 декабря 1826 г.

<sup>3</sup> Из письма от 25 января 1827 г.

«После моих последних строк моему мужу было очень плохо, я была в ужасе за него, но теперь он чувствует себя бесконечно лучше, даже почти хорошо, чрез 5 или 7 дней доктор Аренд позволит ему выйти; это очень хороший врач, и сделал ему много, много добра...»<sup>1</sup>

«Я была прервана, — продолжает она в тот же день, — нашим дорогим Львом Пушкиным, который пришел попрощаться с нами: он поступил в один драгунский полк и отправляется к нему в Грузию, чтобы сражаться с персианами; он сделал глупость, поступив унтер-офицером после того, что имеет уже небольшой чин; как огорчены его бедные родители, и мы оплакиваем его как умершего. Я уверена, что он будет убит, это доброе дитя. Я плакала, как несчастная, прощаясь с ним. Я люблю его, как брата; сверх того я была тронута его преданностью нам. Он тоже много плакал, а ты знаешь, что значат слезы мужчины, особенно такого, как он, который никогда не пролил и слезинки. Он приходил к нам все эти дни, мы больше его не увидим, это предчувствие, я слишком плачу о нем, и все тоже. Я люблю все это семейство, как близких родных».

«Дорогой друг! Г. Великопольский берется передать тебе это письмо, — пишет она 19 февраля. — Он брат г-жи Нератовой, я говорила тебе о нем в одном из моих писем; тем не менее я тебе его вновь рекомендую, — это очаровательный человек, который, конечно, тебе очень понравится. Его зовут Иван Ермолаевич. Мне нет необходимости просить тебя принять его хорошо, так как ты не можешь не быть любезной. Он как раз сегодня утром едет в Казань, и я спешу сказать тебе несколько слов, — он сейчас пришлет взять у меня письмо. Он еще не знает наверное, поедет ли он в Оренбург, но в случае, если он туда не поедет, я просила его доставить это письмо по почте из Казани. Моему мужу гораздо лучше, но у меня новое горе — жена моего брата опасно больна нервной лихорадкою, а между тем беременна на 5 месяце. Бедный Мишель в очень жалком положении. Мой отец в настоящую минуту при нем и ухаживает за его женою вместе с ним».

«Папа приехал вчера и остановился у нас на некоторое время. Он оставил невестку в значительно лучшем состоянии, но говорит, что еще беспокоится за нее. Он нежно ее любит и очень хвалит ее

---

<sup>1</sup> Из приписки от 31 января на предыдущем письме.

ум, твердый и мягкий характер и рассудительность, которая, по его словам, выше ее возраста — ей 19 лет...»<sup>1</sup>

«В письме, которое я написала тебе с Великопольским, я тебе его расхваливаю, — но это из предосторожности; признаюсь тебе, что он иногда бывает скучноват; но может быть, он не поедет в Оренбург, — он говорит, что не уверен в том, что не будет задержан в Казани, — и в этом случае ему, может быть, захочется прочесть мое письмо»<sup>2</sup>.

Посылая подруге новый томик «Северных цветов» от имени мужа\*, Софья Михайловна пишет: «Я не могу спросить у Соломирского, получил ли он письмо твоего мужа, по той очень простой причине, что он в Москве, но я думаю, что он скоро возвратится и тогда поручение твое будет исполнено»<sup>3</sup>.

«Что касается нас, — пишет она подруге через неделю, — мы чувствуем себя так и сяк, в особенности я часто бываю нездорова, так как климат Петербурга для меня вовсе не подходит, что не перестают мне повторять. В конце мая пароход отвезет нас в Ревель, а возвратившись оттуда осенью, мой муж сделает все возможное, чтобы достать себе место где-нибудь в другом месте, а не здесь. Я бы очень хотела покинуть нашу скучную столицу: уже давно я об этом мечтаю, и надеюсь, что в один прекрасный день эта мечта осуществится. Если бы я могла быть поближе к тебе, мой друг. Это удвоило бы удовольствие, которое я испытала бы, покидая Петербург»<sup>4</sup>.

«Что ты читаешь? Вскоре у тебя будет кое-что новое и красивое — „Цыганы“ Пушкина: я вышлю их тебе, как только они появятся, — они в печати. Что касается меня, то я дала себе труд прочесть все сочинения Ж. Ж. Руссо „от доски до доски“, — это 34 тома. Я уже предпринимала это однажды и начала с „Новой Элоизы“, но бросила ее вскоре же, оттолкнув несколькими местами, которые мне не понравились. Теперь я расхрабрилась и хочу последовать совету папá, который уверяет меня, что я так пристрашусь к Руссо, что, раз прочитав его, захочу потом перечитывать его много раз. Он прочел мне многое из „Элоизы“, в ней есть превос-

---

<sup>1</sup> Из письма от 25 февраля 1827 г.

<sup>2</sup> Из того же письма.

<sup>3</sup> Из письма от 10 апреля 1827 г.

<sup>4</sup> Из письма от 18 апреля 1827 г.

ходные места; что касается слога, то он везде совершенен; со всем тем, у меня никогда не было смелости прочесть ее сразу. Попробую. Там много хороших вещей о воспитании, — согласна ли ты с этим?»<sup>1</sup>

«Я пошлю тебе мой портрет из Ревеля, а на следующей почте пошлю „Цыган“, что гораздо интереснее; они отпечатаны. Здесь ожидают Пушкина, но я боюсь, что он придет, когда мы уедем, — и это очень возможно. <...>

...Ты спрашиваешь меня, что случилось с Сашей Геннингс? Я думала, что сообщала тебе, что она снова вышла замуж — за Пушкина, гусарского ротмистра; она обыкновенно в Царском Селе, с полком своего мужа. Она кажется очень счастливой. Я провела в Царском три дня и вчера приехала; я столько там ходила, что еще сегодня падаю от усталости. Что за восхитительное место это Царское! Все так чисто! Какой красивый сад, какой парк, какая ферма! Для меня же эти места особенно интересны: именно в Царском Антоша сказал мне о своей любви; там же он воспитывался»<sup>2</sup>.

Наконец, Софья Михайловна получила возможность лично познакомиться с Пушкиным, который, в конце концов, приехал в Петербург и поспешил обнять своего друга — Дельвига.

«Мы накануне нашего отъезда, дорогой друг, и все эти дни я была занята приготовлениями к нашему путешествию и к путешествию моего отца, который уезжает несколькими днями ранее нас<sup>3</sup>; вот почему я немного запоздала сообщением тебе нашего адреса в Ревеле, который я узнала лишь недавно. Вот он: в Ревеле, в Екатеринтале, в доме Витта. Я с нетерпением жду отъезда, этот проклятый Петербург нагоняет на меня страшную тоску. Говорят, что в Ревеле гораздо больше свободы: можно никого не видеть, если хочешь, — и это очень меня устроит, я не буду делать ни одного нового знакомства, хотя там будет очень много народу: Ревель вошел в моду, — туда едут со всех концов; но я буду видеть только Пушкиных, с которыми мне не нужно нисколько стесняться: они очень славные люди. Ты видишь, что я по-прежнему *дикарка*, как некогда была; я знаю, что это очень нехорошо, но также знаю, что

---

<sup>1</sup> Из письма от 2 мая 1827 г.

<sup>2</sup> Из письма от 12 мая 1827 г.

<sup>3</sup> В приписке от 29 мая С. М. Дельвиг писала, что М. А. Салтыков уже уехал из Петербурга — на два года с лишком.

я никогда не исправлюсь от этого недостатка. Кстати о Пушкиных: я познакомилась с Александром, — он приехал вчера и мы провели с ним день у его родителей. Сегодня вечером мы ожидаем его к себе, — он будет читать свою трагедию „Борис Годунов“. Я в восторге, что его увидела наконец. Я поговорю о нем с тобою более подробно, когда узнаю, что тебе получше, до настоящего времени я ничего еще не могу сказать тебе. Что он умен, — это мы знаем уже издавна, но я не знаю, любезен ли он в обществе, — вчера он был довольно скучен и ничего особенного не сказал; \*только читал прелестный отрывок из 5-ой главы „Онегина“.\* Что касается „Цыган“, — то не моя вина, что я тебе их еще не посылаю на этой почте: у меня был один-единственный экземпляр, который я предназначала тебе, но Петр Иванович Полетика просил меня уступить его ему, говоря, что я могу достать себе другой вместо него, так как он вынужден на другой день уехать, что он и сделал, — а у петербургских книгопродавцев нет их больше ни одного экземпляра (они были отпечатаны в Москве), но теперь, когда сам автор здесь, мне уже нетрудно будет получить их. Надобно было видеть радость матери Пушкина: она плакала как ребенок и всех нас растрогала. Мой муж также был на седьмом небе, — я думала, что их объятиям не будет конца...»<sup>1</sup> Двадцать девятого мая она делала приписку: «Вот я провела с Пушкиным вечер, о чем я тебе говорила раньше. Он мне очень понравился, \*очень мил, мы с ним уже довольно коротко познакомились. Антон об этом очень старался,\* так как он любит Александра, как брата. Что мне очень нравится, — это то, что он чрезвычайно похож по своим манерам, по своим приемам, тону на брата своего Льва, которого я люблю от всего моего сердца: это был такой добрый ребенок — этот Лёвушка, как мы называем его с мужем».

Вскоре Дельвиг с женою поехали на морские купанья в Ревель, куда отправлялось и семейство Пушкиных, т. е. родители и сестра поэта. Ревель был тогда модным летним курортом петербуржцев и даже москвичей. Приведем несколько выдержек из письма С. М. Дельвиг, рисующих тогдашний ревельский быт и жизнь ее с мужем.

«Дорогой и добрый друг, вот мы в очаровательной местности — В Катеринтале, — совсем близ предместий Ревеля. Мы выехали из

---

<sup>1</sup> Из письма от 25 мая 1827 г.

Петербурга 2-го этого месяца, в 9 часов утра; была великолепная погода, пароход шел очень быстро, нам говорили, что он обыкновенно приходит в Ревель в 24 часа, — и все возвещало нам, что мы пробудем в море не больше этого срока, как вдруг к вечеру погода стала меняться, пошел дождь и поднялся небольшой ветер, но так как он был не очень велик, то у нас из всех 40 человек только одна особа начала страдать немного от морской болезни. К ночи ветер стал сильный, все стали жаловаться, и я была в числе тех, кто страдал наибольшее. Качка становилась все больше с минуты на минуту, волны были страшнейшие, они переходили через палубу, мы все почти умирали — мужчины и женщины. Те, у кого бывали дурноты только на суше, не могут составить никакого представления об этой ужасной болезни, которую называют „морскою“. Я и многие другие дамы спрятались в каюты, но вскоре раскаялись в этом: нас там начало еще больше, — у меня были спазмы еще сильнее. На борту парохода был один доктор, — к счастью для нас: он сопровождал графиню Остерман, с которою я была знакома, и она присылала его поминутно ко мне; но для того, чтобы принять лекарство, которое он мне предлагал, мне нужно было привставать, — и как только я это делала, меня рвало (прости мне эти подробности, немного грязные). Наконец к утру мы почувствовали себя значительно лучше, погода стала более ясная, и мы все выползли на палубу; там я легла и свободно вздыхала после стольких страданий; но каково было мое отчаяние, когда капитан сказал мне, что мы будем в пути еще сутки, потому что ветер был настолько неблагоприятен, что мы сделали в течение ночи лишь 4 версты, тогда как накануне мы делали по 12 верст в час; и хотя мы снова начали делать по стольку, мы потеряли слишком много времени, чтобы быть в состоянии скоро его наверстать. Тем не менее день был прелестный, и мы забыли ночные страдания; ночь мы провели на палубе в совершенном здоровье всех пассажиров. Я дивилась восходу солнца: на море это нечто очень красивое, я никогда не забуду того, что я испытала при этом зрелище, и не в состоянии дать тебе о нем представления... Местность, в которой мы живем, очень красива, наша квартира — маленькая игрушка, мы в двух шагах от сада и от замка „Катеринтал“, которые доставляют много наслаждения. Там есть столетние башни, замечательно красивые; великолепные виды. Я каждый день хожу гулять, — есть место, которое я очень люблю, — это один маяк, на большой, конечно, возвышенности, я хожу туда с Антошей, и мы не



перестаем изумляться прекрасному виду, который оттуда открывается: оттуда видно море и весь Ревель у ног. В замке показывают несколько кирпичей, которые не оштукатурены, потому что были положены самим Петром Великим. Не могу еще ничего сказать тебе о городе, потому что была там лишь один раз, к тому же вечером и в карете, — я ездила смотреть спектакль, который мне довольно понравился: давали одну трагедию Раупаха; первая роль исполнена была м-м Бирх, очень хорошо актрисою; она превосходит столь хваленую Федерсен, которая была у нас в Петербурге. Пьеса сама по себе не очень замечательна, театр маленький, но красивый, жалко, что он плохо освещается. Завтра я пойду осматривать все, что есть любопытного в городе, и расскажу тебе об этом, если не очень наскучиваю тебе своими длинными рассказами. Говорят, и я этому верю, что там много интересных вещей можно видеть: это ведь такой древний город. Что мне здесь нравится, это то, что можно совсем не стесняться, если хочешь. Можно гулять совсем одной, и вовсе не наряжась. Я наслаждаюсь здесь жизнью; чувствую себя чудесно, ем за четверых, много хожу и сплю как дура. Мой муж ведет себя таким же образом...»<sup>1</sup>

Три недели спустя, после курса лечения, она писала Карелиной:

«Я чувствую себя хорошо, беру ежедневно теплые ванны, но пять или шесть дней уже лишена удовольствия делать прогулки и удивляться восхитительным здешним видам: погода отвратительная, то и дело идет дождь и такой сильный холодный ветер, что он ломает деревья, и купальни, построенные на море, унесло, так что я не так скоро еще буду купаться в море. У нас холодно так, как зимой; я не покидаю в течение целого дня мою накидку.... Я была уже много раз в городе с тех пор как тебе не писала, и я еще не все видела; что поразило меня, так это ревельские дороги и улицы, такие узкие, что две кареты не смогли бы на них встретиться без того, чтобы не раздавить друг друга; дома очень высокие и весьма древней архитектуры; смотря на них, я думала о рыцарях, которые в них когда-то жили, и переносилась в эти счастливые времена. В общем, все напоминает их здесь; на каждом шагу встречаешь очень интересные древности. Церкви особенно замечательны; в них видишь могилы рыцарей и их жен и их вооружения, свешивающиеся сверху, равно как их фамильное оружие. На некоторых из этих могил можно видеть фи-

---

<sup>1</sup> Из письма от 8 июня 1827 г.

гуры рыцарей, сделанные во весь рост из камня. Это очень интересно. Мы посетили, между прочим, церковь св. Николая, построенную в 1317 году. Там мы видели тело одного герцога де Круа, выставленное уже 150 лет взорам всех, — за долги он не был погребен. Представь себе, что оно совсем не испортилось, но окаменело. Я его трогала, я снимала его большой парик, и мне показывали его собственные волосы. Он совсем не противен. Это человек лет пятидесяти, который должен был быть красив, — это видно, — и очень изящен до сих пор, он покрыт кружевами, и его черный бархатный плащ великолепно сохранился, равно как и его белые шелковые чулки и белые перчатки, хотя и разорванные, что происходит от того, что постоянно приходят его смотреть и снимают перчатки, чтобы рассмотреть его руки: они у него очень красивые и «длинные аристократические ногти. Думал ли этот бедный старик, что 150 лет после его смерти все будут его тормошить, снимать парик его и колотить в голову.\* Я также это сделала: его голова крепка, как камень<sup>1</sup>. Я много раз ходила гулять по бульварам, которые окружают город: это восхитительная прогулка, — Ревель виден со всех сторон, со своими старыми стенами; это очаровательный вид; город представляется особенно хорошо с одной стороны: видны развалины древнего мужского монастыря; это восхитительно. Бог знает куда это меня занесло... Театр здесь вовсе не плох, исключая опер: я видела „Танкреда“\* и чуть не умерла со смеху; но что удивительно, это то, что несколько дней спустя давали „Фрей Шюц“ и он шел чудесно; говорят, что его играли столько раз, что в конце концов он стал идти хорошо. Эта опера — Вебера, — что за музыка! Ты знаешь, что она делала фурор в Германии, и в Петербурге ее давали точно так же, я думаю, миллион раз. Я его видела там, но слышать эту прекрасную музыку один раз недостаточно, я решила послушать ее еще раз здесь, и, к моему великому удивлению и восторгу, нашла, что это было лучше исполнено, чем в Петербурге. Я, может быть, наскучиваю тебе моими подробными описаниями, но извини меня, — это моя слабость: я не бываю спокойна, если не даю тебе отчета во всем, что вижу... Близ нашего дома есть салон, в котором абонируются на лето, туда можно приходиться ежедневно, играть в

---

<sup>1</sup> О герцоге Круа см. еще в письме кн. П. А. Вяземского к жене из Ревеля от 11 июля 1825 г. (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1909. Т. 5. Вып. 1. С. 56, 138—139) и в его же стихотворении 1844 г. «Ночь в Ревеле».

карты, обедать, музицировать или делать что кому нравится. Все это очень хорошо; два раза в неделю там собираются для танцев, и это было бы также очень приятно, если бы Ревель не был в такой моде и если бы здесь не было так много великосветских петербургских дам. Ты назовешь меня дикаркой; но выслушай меня сначала и согласись, что я права. Эти дамы не могут привыкнуть к простоте и к свободе, которые необходимо должны царствовать на водах между больными. Надо же, чтобы они вводили стеснение и роскошь! Правда, им не очень-то подражают и совсем не наряжаются, идя в Салон, например, Пушкины, и я, и многие другие, но что невозможно никак изменить, это что собираются поздно, в 9 часов. Это больные-то и в Ревеле! Тогда как в предшествующие годы приходили, говорят, в 7 часов. Вчера, например, мы вернулись в 2 часа по полночи, потому что котильон тянулся целую вечность. Хорошо леченье! И это еще не было бы чем-то неподходящим, правда, если бы эти балы были достаточно занимательны. Есть над чем посмеяться: у нас есть неоцененные танцоры, — я не могу тебе их описать, — их нужно видеть и держаться за бока...»<sup>1</sup>

Получив затем письмо от подруги, Софья Михайловна писала ей:

«Я в восторге от того, что „Цыганы“ тебе нравятся, ты должна в настоящее время иметь собственный свой экземпляр, если особа, которой я поручила отослать его тебе, была исправна. Пушкин только что прислал моему мужу отрывок из 4-й песни „Онегина“ для „Северных цветов“ ближайшего года, но я хочу, чтобы ты прочла его раньше всех. Скажи мне, как ты его находишь? Не правда ли, что это очаровательно? И не узнаешь ли ты в нем то, что мы столько раз видали и над чем вместе смеялись?...»

«Наши балы продолжают по два раза в неделю и начинают забавлять меня. 9 июля мы, то есть все русские, находящиеся здесь, дали прекрасный бал, каждый внес на него деньги — граф Кочубей в особенности, и князя Репнины дали много. Зала была освещена и украшена цветами очаровательным образом, ужин был восхитительный и очаровательный фейерверк; было много народу и самое избранное общество. Я танцевала как сумасшедшая до 4-х часов утра и очень веселилась. Вот как я веду себя, как я ни дика»<sup>2</sup>.

Еще месяц спустя она пишет:

---

<sup>1</sup> Из письма от 1 июля 1827 г.

<sup>2</sup> Из письма от 17 июля 1827 г.

«Я теперь совершенно поправилась, освободилась от всех лекарей, которыми меня пичкали так долго. Я подумываю об отъезде, который я хотела бы от всей души назначить хоть на завтра, несмотря на все удовольствие, которое доставило мне пребывание в Ревеле. Все уезжают, мы день ото дня делаемся более одинокими... Мы уезжаем положительно 23 числа этого месяца... Наконец мой портрет готов, так же как и моего мужа, я вышлю тебе их оба из Петербурга. Мне сделали лицо немного широкое, так же как и нос; ты знаешь, что он у меня немножко широковат; поэтому, если его уширить хоть совсем чуть-чуть, хоть на волосок, он становится уже бесформенным... Портрет моего мужа поразительно похож»<sup>1</sup>.

Вернувшись в Петербург, С. М. Дельвиг не скоро собралась написать Карелиной: с Дельвигом произошло несчастье и приковало его к постели, сделав из жены сиделку, обязанную ухаживать за больным.

«Мой муж напугал меня так, что я едва теперь пришла в себя: он упал с дрожек и вывихнул себе руку; теперь ему гораздо лучше, но она еще на перевязи, и говорят, что он сможет пользоваться ею не раньше, как через несколько недель; два раза ему пускали кровь, потому что ему грозило воспаление. Как только он будет в состоянии выходить, он займется твоею грамматикою Греча, а портреты пошлет на днях по тяжелой почте. К довершению несчастья надобно было, чтобы это была правая рука; мне придется быть, как и сейчас, его секретарем, я перевязываю ему руку, мою его и проч.»<sup>2</sup>.

Друзья Дельвига навещали его во время болезни, — навещал его и Пушкин, что видно из современной записи И. А. Второва, родом оренбуржца, приехавшего в Петербург в конце сентября 1827 г. На запрос А. Н. Карелиной, познакомилась ли Софья Михайловна со Второвым, она писала 8 декабря 1827 г.:

«Г-н Второв был у нас только два раза, потому что он был очень болен. Мой муж ходил к нему повидать его. Кажется, что он человек весьма почтенный. Я много его расспрашивала о тебе».

В дневнике своем Второв тоже отметил, что Дельвиг не раз навещал его и что давней мечте его познакомиться лично с Пушкиным суждено было осуществиться именно в доме Дельвига. С Пушкиным

---

<sup>1</sup> Из письма от 16 августа 1827 г. из Ревеля; далее — письмо лишь от 1 октября из Петербурга.

<sup>2</sup> Из письма от 1 октября 1827 г., — приписка от 13 октября.

хотел познакомить общий их знакомый А. Н. Остафьев, но почему-то это знакомство через Остафьева не состоялось. «Познакомился наш герой, — пишет биограф Второва, М. Ф. де-Пуле, — с великим поэтом чрез барона Дельвига, у которого встретил его 26 ноября 1827 г. Вот что записано у Второва по поводу этого первого свидания: „Я пошел во 2-м часу к барону Дельвигу. У него застал Ф. В. Булгарина и Александра Сергеевича Пушкина. В беседе с ним я просидел до 3 часов. Последнего я желал давно видеть — и увидел маленькую белоглазую штучку, более мальчика и ветреного шалуна, чем мужа. Но его шутки, рассказы, критика, — совершенно пиитические; мне не понравилось только, что он считает «дрянью» Гнедичеву идиллию Рыбаки“. Дальнейшего сближения не было, но они встретились, хотя и не в Петербурге. Мать поэта, Надежду Осиповну, и одну из сестер [?] его Иван Алексеевич прежде видел у Дельвига»<sup>1</sup>.

«Большое спасибо за знакомство с Жемчужниковым и тысяча извинений за то, что я так долго оставляла тебя в неизвестности о себе, — писала С. М. Дельвиг из Харькова 9 февраля 1828 г. — Занятая приготовлениями к довольно продолжительному путешествию [в Харьков], я была тем более им поглощена, что готовилась к тому, чтобы покинуть Петербург, не более, чем к тому, чтобы видеть приход конца мира. Это устроилось неожиданно<sup>2</sup>, вследствие чего я не знала, с чего начать, будучи вынуждена спешить с устройством множества дел, которые должны были быть закончены мной самою, — запаковывать вещи, искать жильцов для нашей квартиры, которую мы оставили за собою до нашего возвращения, — потому что я не думаю, чтобы мы остались в Харькове более 3 или 4 месяцев. Это по одному казенному делу, что мой муж сюда послан — „сделать какое-то следствие“. Мы были в пути 15 дней, считая 5 дней, проведенных в Москве у моих отца и брата, где я познакомилась с моей невесткой и моим племянником, 9-месячным, очень хорошеньким и толстеньким мальчиком. Я здесь со вчерашнего дня, т. е. с 8 февраля. У нас была ужаснейшая дорога и морозы в 25 градусов, и я еще совершенно усталая и пишу тебе для того, чтобы отдохнуть, потому

<sup>1</sup> Русский вестник. 1875. № 8. С. 596—597.

<sup>2</sup> А. Н. Вульф в дневнике своем пишет, что в поездку эту Дельвиг собрался из ревности, — заметив ее отношения к Вульфу и к другим ухаживателям (Пушкин и его современники. Вып. 21—22. С. 41—43).

что почта отсюда уходит только раз в неделю, и я должна ждать еще три дня, чтобы отослать письмо. \*Все еще у нас в беспорядке. Мы остановились в трактире, покуда не отвели нам казенной квартиры. Города я еще совсем не знаю. Я здесь как в лесу, знакомых нет ни души, а заводить новое знакомство еще неприятнее; меня утешает по крайней мере мысль, что я встречу весну в прекрасном климате — в тени украинских черешен, как говорит Пушкин<sup>1</sup>. Псылаю тебе „Северные цветы“ с портретом Пушкина и тысячу нежностей вам обоим, милым и добрым друзьям нашим, от нас обоих, истинно любящих вас...

Вот тебе наш милый добрый Пушкин, полюби его!\* Рекомендую тебе его. Его портрет поразительно похож, — как будто ты видишь его самого. \*Как бы ты его полюбила, Саша, ежели бы видела его как я, всякий день.\* Это человек, который выигрывает, когда его узнаешь. Как находишь ты „Нулина“? Надеюсь, что ты не ложностыдлива [grude], как многие мои знакомые, которые не решаются сказать, что они его читали. Мысли в прозе — Пушкина, и пьеса под заглавием „Череп“, под которой он не пожелал поставить свое имя, — также его. Это послание, которое он написал к моему мужу, при посылке ему черепа одного из его предков, которых у него множество в Риге; вся эта история — правдоподобна<sup>2</sup>.

«Бог знает когда я покину Харьков, — пишет затем она (1 марта). — Дело, по которому мой муж был послан сюда, запутано, и никто не может сказать мне, когда приблизительно можно надеяться на его окончание. Мой Антоша очень занят, и это еще прибавляет мне тоски, так как я вынуждена быть одна большую часть времени, — что, однако, все-таки лучше, чем быть окруженной новыми физиономиями, которые, как бы любезны они ни были, не могут иметь ничего общего со мною ни по интересам, ни по знакомствам, ни по связям. Я привезла с собою книг, как ты можешь догадаться, так как иначе я с ума бы сошла со скуки; у меня есть фортепяно и кое-какие ноты. Самые приятные для меня минуты — когда я читаю; у меня все сочинения Шекспира. Что за наслаждение, дорогой друг! Я хотела бы от всего сердца, чтобы ты их прочла. <...>

---

<sup>1</sup> Стих из «Полтавы», повторенный в стихотворении «Когда помирует нас Бог...».

<sup>2</sup> Из письма от 9 февраля 1828 г.

Я надеюсь вскоре доставить тебе наслаждение присылкою 4-й и 5-й песен „Онегина“, которые только что появились; если мне приходится отложить эту посылку, то это все по вине наших корреспондентов, а в особенности Пушкина, который прекрасно мог бы немножко поторопиться доставить нам книгу. Он читал мне эти две песни, так же, как и следующие, до того, что они были напечатаны. Если он не сделал неудачных перемен после того, то я могу сказать, что это, конечно, самые прелестные, — по крайней мере они мне нравятся больше, чем предыдущие; но 6, 7 и 8-я, по моему мнению, еще лучше. Может быть, мне придется еще долго ждать возможности полакомить тебя этими двумя песнями, которые только что вышли, — поэтому, в ожидании сего, я тебе перепишу маленький отрывок 4-й песни, который я знаю наизусть и который, конечно, доставит тебе удовольствие. Вот он:

Конечно, вы не раз видали  
Уездной барышни альбом;  
Что все подружки исписали  
С конца, с начала и кругом.  
Туда, назло правописанью,  
Стихи без меры, по преданью  
В знак дружбы верной внесены,  
Уменьшены, продолжены.  
На первом листике встречаешь:  
Qu'écritez-vous sur ces tablettes —  
И подпись: Toute à vous Annette;  
А на последнем прочитаешь:  
Кто любит более тебя, —  
Пусть пишет далее меня.  
Там непременно вы найдете  
Два сердца, факел и цветки  
И клятву верно уж прочтете  
В любви до гробовой доски.  
Какой-нибудь *пист* армейский  
Тут подмахнул стишок злодейский.  
В такой альбом, мои друзья,  
Признаться, рад писать и я,  
Уверен будучи душою,  
Что всякий мой усердный вздор  
Заслужит благосклонный взор  
И что потом с улыбкой злою  
Не станут важно разбирать,

Остро иль нет я мог соврать.  
 Но вы, разрозненные томы  
 Из библиотеки чертей,  
 Великолепные альбомы,  
 Мученье модных рифмачей.  
 Вы, украшенные проворно  
 Толстова кистью животворной  
 Иль Боратынского пером, —  
 Пускай сожжет вас Божий гром.  
 Когда блистательная дама  
 Мне свой *in-quarto* подает, —  
 И дрожь, и злость меня берет  
 И шевелится эпиграмма  
 Во глубине моей души, —  
 А мадригалы им пиши!<sup>1</sup>

У меня остается места лишь, чтобы сказать тебе „прости“! Оставляю тебя, поэтому, мысленно обнимая вас обоих; муж мой говорит вам тысячу нежностей. Софи».

Отчаянно скучая в чужом ей Харькове, Софья Михайловна утешала себя: «...Будем надеяться: надежда дает нам силы переносить многое; например, я не знаю, что сделалось бы со мною, если бы мне не давали надежды, что я покину Харьков в конце апреля. Какое удовольствие это для меня будет, — тем более что, проезжая через Тульскую губернию, мы отправимся на свидание с родными моего дорогого Антоши, которые там живут в их имении, и останемся там в течение месяца, быть может. Я не дождусь минуты, когда окажусь среди этого семейства. Мой муж, лучший из мужей, поручает мне сказать вам обоим все, что я только могу представить себе самого приятного и самого нежного. Представьте это сами себе, и наверно вы не перейдете границ истины. Что за Ангел этот человек! С каждым днем я его люблю и ценю все больше и больше... Мне очень грустно: *Батинька* мой едет в гости за 30 верст и не воротится прежде ночи. Это первый раз, что я расстанусь с ним на целый день за 2 1/2 года»<sup>2</sup>.

«Когда ты получишь это письмо, — пишет она 14 апреля, — мы, вероятно, будем подготавливаться к отъезду; это только предположе-

<sup>1</sup> Это строфы XXVIII—XXX 4-й песни «Евгения Онегина»; от печатного текста сообщенный С. М. Дельвигом отличается несколькими, но незначительными различиями.

<sup>2</sup> Из письма от 9 марта 1828 г. из Харькова.



ние, так как я хорошенько не знаю, может ли следствие окончиться к концу апреля, как меня обнадежили; но во всяком случае адресуй свои письма Тульской губернии в Чернь, т. е. к моему свекру и свекрови, которых мы поедем повидать, проезжая через Тульскую губернию... \*Барон мой целует твои руки и мужу твоему кланяется, а я обнимаю вас обоих крепко и нежно, сколько люблю. Извини меня, Саша, что я до сих пор не посылаю тебе 4-й и 5-й главы „Онегина“, — злодей Пушкин совсем забыл нас и против своего обыкновения не спешит прислать нам оные\*».

«Несмотря на хорошее общество в Харькове и любезность всех дам, о которых я говорила, я не дожусь, когда их покину, потому что я устала от сплетен, которые постоянно слышу. Они всегда бывают в небольших городах (ты о последних сама нечто знаешь), но я бьюсь об заклад, что нигде не занимаются ими так, как здесь. У харьковцев совершенно особенная склонность к вмешательству в дела, которые их не касаются, и к тому, чтобы делаться цензорами поведения лиц, которые должны бы были быть совершенно для них безразличны. Что за бесконечные дрязги! Даже я, находясь здесь лишь на мгновение, также не могла избежать их! Это меня несколько не огорчает, так как я не очень-то забочусь о мнении, которое могут иметь обо мне лица, мною не уважаемые (чтобы не сказать больше), но это наскучивает мне до чрезвычайности... \*Дядя Тотон<sup>1</sup> намеревается сам приписать к моему письму несколько слов, только не ручаюсь, что успеет<sup>2</sup>: он занят. Мы ездили на четыре дня за 70 верст отсюда в одну деревню, где ему надобно было быть по делам службы; вчера вечером только приехали. Почта завтра отходит, а ему много писем отправлять... Скажи мне, понравились ли тебе „Северные цветы“ и что более всего понравилось? Мы написали в Петербург о доставлении тебе „Онегина“, и я надеюсь, что ты получишь его в непродолжительном времени\*»<sup>3</sup>.

«Я была больна и лежала в постели, и теперь едва встала. Ты помнишь, что мы с мужем сделали небольшую поездку, — так это она принесла мне вред, так как мы совершили это маленькое путешествие по ужаснейшей погоде и оба простудились; мой муж также

---

<sup>1</sup> Так называла барона Дельвига маленькая крестница Софьи Михайловны — Софья Карелина.

<sup>2</sup> Приписки нет.

<sup>3</sup> Из письма от 21 апреля 1828 г. из Харькова.

был болен, а я едва не получила горячку; я счастливо избегла ее благодаря заботам одного очень хорошего врача, которого нам здесь рекомендовали... Я вовсе не создана для харьковского образа жизни в течение трех месяцев, что я прожила здесь и которые показались мне безмерно длинными. Мне хочется быть подальше от всяких сплетен, которые я слышу каждый день; к тому же я не могу дожидаться, когда буду в кругу семьи моего мужа. Только о двух здешних особах буду я сожалеть искренно — это о мадам Щербининой, которая поистине очаровательна и которую невозможно не любить, и другая — таких же качеств... Многие мои петербургские знакомые советовали мне не следовать за мужем в Харьков, говоря, что отсутствие его продолжится *только три месяца* и что я могу избавить себя от поездки за ним на *столь короткое время*. Три месяца кажутся мне теперь годом, даже когда я нахожусь вместе с мужем, — что же было бы, если бы я осталась без него!..»

«Ты ошибаешься, думая, что мне захочется побить тебя за твое суждение о Пушкине: я вовсе не так пристрастна, как ты воображаешь, а если бы так было, то это значило бы, что я нетерпима! Я согласна, что в последних песнях „Онегина“ есть слабые места, но в них и столько красот, которые их окупают. Одно, чего я не понимаю, это то, что ты не заметила Сна Татьяны. Разве ты не находишь, что он изумителен? По-моему, это совершенство. О чем хочешь ты сказать, говоря, что там есть слова, поставленные только для рифмы, что недостойно Пушкина. Я боюсь, что ты имеешь в виду это место:

Читатель ждет уж рифмы: розы, и т. д.

потому что я нахожу это очаровательным. \*Я сама заметила много *пустословия* и никогда не заступаюсь за Пушкина, когда не надобно за него заступаться; только *эту его слабость* нахожу прелестной.\* Я все читаю Шекспира и все больше и больше ему изумляюсь»<sup>1</sup>.

«Ты не можешь себе представить, мой ангел, до чего мне наскучило мое здешнее пребывание и сплетни, которые я осуждена слушать, — пишет Софья Михайловна 19 мая. — \*Знаешь ли что? И меня хотели запутать в какую-то глупую историю, хотя я никого не трогаю и ни про кого не говорю ничего.\* Это заставило меня провести несколько неприятных минут, потому что я ненавижу сплетни

<sup>1</sup> Из письма от 4 мая 1828 г. из Харькова.

и всегда старалась вести себя так, чтобы не давать к ним повода. \*Вот что меня здесь развлекает и утешает. Погода уже несколько дней прелестная; мы с *Батинькой* ездим по вечерам за город гулять, любуемся прекрасными местами и слушаем соловьев, которых здесь ужасное множество. Ты не можешь себе представить, какое это для меня наслаждение: я готова целую ночь их слушать!.. Получила ли ты наконец „Онегина“? Ежели нет, то я не знаю, что подумать о наших Петербургских комиссионерах. Мой муж, пользуясь отсутствием твоего, поручил мне наговорить тебе побольше нежностей\*».

«Я писала тебе 10 дней тому назад, извещая, что я покидаю Харьков, — читаем в следующем письме, — и действительно, наше путешествие было уже, к моему великому удовольствию, назначено на следующий день, когда эти господа (в том числе и мой муж) получили бумагу из Петербурга, в которой им предписывалось остаться здесь еще по новому делу, которое им поручалось: *опять какое-то следствие*. Суди о моем отчаянии: я уже распрощалась со всеми и совсем приготовилась к отъезду. Я разорвала мое письмо к тебе, так как оно уже не годилось... К счастью, дело это не может протянуться, как говорят, более двух недель или даже меньше; вот уже десять дней прошло с получения фатального известия, — и так я надеюсь, что смогу тронуться отсюда через 4 или 5 дней; они почти закончили дело, муж мой работает со всем усердием и как только может, другие действуют так же, ибо и они так же досаждают на то, что должны продлить свое пребывание здесь после того, что приготовились к отъезду. Я очень огорчена, что обманула ожидания моих свекра и свекрови, которые с нетерпением ожидают свидания с нами. К тому же для нас важно не слишком запоздать приездом в Петербург, где у нас есть денежные и другие довольно срочные дела... Пошлю тебе, мой ангел, эпиграмму моего *мужа* на харьковские сплетни; он просит тебя сказать о ней твое мнение. Надо тебе сказать, чтобы ты ее лучше поняла, что *Харьков* и *Лопань* — суть имена двух рек, самых грязных и самых вонючих, какие только есть на свете. Что касается прекрасного здешнего климата, о котором я слышала столько хвастовства, — то я не могу ничего другого сказать о нем, как: \*красны бубны за горами\*. По крайней мере, он не пожелал дать нам удивляться себе; может быть, что это такой год выдался. Что бы там ни было, я покидаю Харьков с удовольствием, и считала бы себя самую несчастною женщиной на свете, если бы была осуж-

дена провести здесь свою жизнь. \*То ли дело в Оренбурге! Сейчас полетела бы туда!»<sup>1</sup>

Из приписки от 10 июня видно, что Дельвиги должны были выехать 12 июня. Наконец они покинули Харьков и направились в Чернский уезд, в деревню родителей Дельвига. Приводим письмо Софьи Михайловны (от 1 июля) с рассказом об этой поездке.

«Я надеялась быть здесь (т. е. в деревне моего свекра) гораздо раньше, чем это случилось, мой ангел; случилось, что различные обстоятельства помешали тому, чтобы эта надежда осуществилась. Итак, я нахожусь здесь, у моих родных, лишь с 20 июня, т. е. в течение 10 дней; а так как мы находимся в 20 верстах от почтовой конторы и наши сношения с городом не часты, — я надеюсь, что ты не посредишься на меня за то, что я только сегодня отвечаю на два твои любезных письма, из которых одно (от 16 мая) ожидало меня здесь... Надо тебе сказать (ибо я уверена, что ты узнаешь это с удовольствием), что все семейство моего мужа приняло меня великолепно. В моей свекрови нашла я особу доброты, мягкости и любезности поистине редких. Мой свекор также человек превосходный; оба выказывают мне чувства привязанности самой трогательной, — рано как и пять моих золовок, из которых две замужние и имеют прекрасных мужей, тетушки, дядя и т. д. У меня есть еще два маленьких шурина, из коих старшему 9 лет. Представь себе, дорогой друг, что нас садится за стол каждый день 18 человек (замужние сестры тоже приехали сюда, чтобы повидать нас), — и всё это близкие родные, — ни одного кузена или кузины. Что удивительно и очень не часто встречается, — это то, что это большое семейство так тесно связано, что ты не можешь себе представить: можно сказать, что это один человек. Наше счастье отравляется болезнью моего свекра и горестию, которую она причиняет моей свекрови, слишком чувствительной и слишком быстро впадающей в тревогу, — это вполне естественно, так как она любит моего свекра до обожания и как будто в первый год женитьбы, хотя она замужем уже 30 лет. У него желчная лихорадка уже 6 недель, т. е. лихорадка-то прошла, но большая слабость, которая всегда следует за столь продолжительной болезнью, показывает, что его состояние внушает больше опасений, чем уверяет доктор и чем есть в действительности. Я наслаждаюсь

<sup>1</sup> Из письма от 6 июня 1828 г. из Харькова. Эпиграмма Дельвига к письму не приложена и нам неизвестна.

деревенскими удовольствиями столько, сколько могу: много гуляю, обошла лес и рощи, окружающие дом... Мы предполагаем остаться здесь до 10 июля, — поэтому не пиши мне больше сюда после получения этого письма, т. е. начинай адресовать твои письма в Петербург, но я должна предупредить тебя, что наш дом продан, и вот наш новый адрес: \*На Владимирской, в доме жены купца Алферовского.\* Мы остановимся, может быть, на две недели в Москве... Я в восторге, что твои волнения о муже успокоены его возвращением и что его путешествие доставило ему столько новых радостей, столько насекомых и мелких зверьков, которые составляют мое несчастье: я боюсь всего этого, как и ты, и если бы я была женою естествоиспытателя, столь ревностного, как твой Гриша, который бы требовал, чтобы я разделяла его восторги и чтобы я трогала все эти ужасы, — я думаю, что у нас не было бы согласия в семейной жизни, потому что я в этом случае не отважилась бы исполнить его желания. Мой муж целует тебе ручки; не знаю, будет ли он сегодня писать твоему Грише: у него толстая пачка писем, на которые ему нужно отвечать, а это плохо устранивается с его леностью...»

Пребывание у свекра неожиданно омрачилось: старик Дельвиг умер 8 июля, — о чем поэт извещал Пушкина коротенькою запискою, кончавшеюся словами: «Жена моя целует тебя в гениальный лоб» (XIV, 22).

Вот что писала Софья Михайловна подруге своей 16 июля:

«Я предпочитала бы, мой дорогой друг, не иметь никакого извинения в своем молчании, чем иметь такое грустное, такое ужасное извинение, какое у меня есть для тебя: мы имели несчастье потерять моего свекра, и я едва в состоянии оправиться от чувства болезненного страха, который произвело на меня и на всю нашу семью это ужасное событие. Сегодня исполнилось 8 дней, что он скончался! Отчаянное состояние моей свекрови было бы трудно описать тебе, равно как и состояние моих золовок, весьма привязанных к своим родителям самую нежную и самую трогательную любовь. Я имела случай видеть сыновнюю любовь моего Антоши. Мое сердце разрывалось при виде горести, которую он не мог не обнаружить при этом, несмотря на все старания быть твердым, с тем, чтобы поддержать добрую матушку, этого ангела терпения, мягкости и всех добродетелей, из которых состоит добрая христианка. Ее спокойствие, достоинство, которое она умела сохранить в несчастье, делают ее еще более трогательной и достойной большего уважения! Не могу

выразить тебе, какая скорбь царит в нашем доме. Что касается меня, то и мне невозможно не сожалеть об этой утрате так же, как сожалеет все наше семейство, в особенности когда я подумаю о привязанности, о совершенно особенной нежности, которую показывал ко мне мой бедный свекор! Он говорил, что он умирает довольный, так как он повидал меня и убедился в том, что я могу составить счастье Антоши. Он благословил всех нас и поцеловал за три дня до смерти, меня же призывал беспрестанно и расточал мне знаки своей доброты. В последний день, когда он был уже очень слаб, чтобы говорить, он улыбался при виде, что я подхожу к его постели, и протягивал мне руку! Мой Антоша давал мне много поводов за него беспокоиться. Представь себе, что на целые четверть часа он лишился употребления языка, и так как его сложение таково, что я имела полное основание бояться апоплексического удара, я не замедлила послать за врачами, которые и предписали пустить ему кровь. Это его спасло; по счастью, он мог потом плакать, и плакал много, особенно при погребении<sup>1</sup>. Я не знаю, сколько именно времени мы останемся еще здесь; но что верно, это то, что мы не выедем ранее августа месяца...»

И действительно, следующее письмо, от 14 августа, писано было еще из чернской деревни Дельвига. Как занят он был делами семьи и сколько забот свалилось на него, видно из двух дошедших до нас писем его от 13 июля; в первом, к Н. А. Полевому, он просил об одолжении ему тысячи рублей<sup>2</sup>, а во втором, к В. Д. Корнильеву, просил последнего хлопотать перед Полевым об этой тысяче рублей. Приводим письмо это, еще не изданное и сохранившееся в Пушкинском Доме.

Тульской губернии город Чернь  
1828 года 13-го июля

Почтеннейший и любезнейший Василий Дмитриевич. Давно уже думали мы вас увидеть, но Царская служба меня удерживала. Наконец нещастие заставляет меня еще несколько промедлить. Я лишился отца, и отца редкого, которого никогда не перестану оплакивать. Зная, что кроме Баратынского и вас никто более не примет во мне

---

<sup>1</sup> В тульском Некрополе В. И. Чернопятава (*Чернопятов В. И.* Дворянское со словие Тульской губернии. М., 1912. Т. 7. С. 49) сказано, что генерал-майор барон Антон Антонович Дельвиг погребен в селе Белине, Чернского уезда, и что он умер 18 (вместо 8!) июля 1828 г., имея от роду 56 лет.

<sup>2</sup> Письмо это опубликовано В. П. Гасским в его статье о Дельвиге в «Современнике» (1854. № 9. Отд. III. С. 23).

участия в столице вашей, я решился поверить вашей душе и мое горе и мою нужду. Сделайте милость похлопочите обо мне у Полевого. Не может ли он мне дать на один только месяц, т. е. до моего приезда в Москву, 1000 рублей, без коих я должен буду остаться в деревне, как рак на мели. Если же он совершенно откажется, то не найдете ли вы другого средства помочь вашему Дельвигу. Жена моя приказала мне кланяться вам обоим от нее, я целую ручки у вашей милой Надежды Осиповны. Голова моя расстроена и ваше письмо двенадцатое из числа приготовленных мною для почты. Адрес ко мне назначен сверх письма. Будьте же здоровы, счастливы, не теряйте милого и любите старых друзей ваших, в коих надеется быть и ваш Дельвиг<sup>1</sup>.

В упомянутом письме Софьи Михайловны от 14 августа 1828 г. мы читаем следующее:

«...Мой муж весьма дружески приветствует вас обоих; он до чрезвычайности занят делами матушки, которые не дают ему ни досуга, ни настроения, чтобы писать письма; поэтому он уже довольно давно не делает этого. Мой покойный свекор оставил матушке долги, а состояние и дела до крайности расстроены; и Матушка, которая ничего в этом не понимает, вдруг очутилась окруженною затруднениями забот совсем для нее нового рода; денег нет совсем, а постоянно подходят *сроки*, в которые нужно платить и которые не терпят отлагательства; вдобавок к казенным долгам, мой муж сделал 500 верст, чтобы найти деньги; он их, наконец, нашел с большим трудом и меньше, чем было нужно; но по крайней мере можно удовлетворить наиболее срочных кредиторов. Моя бедная матушка очень убита, не говоря уже о том, как заставляет ее страдать ее потеря; это горе ее положительно грызет. И что за беспорядок в доме! Вся прислуга пользуется состоянием, в котором находится матушка, распускается и предается всем тем бесчинствам, которые сдерживались в них строгостью моего свекра; он был любим, потому что был добр, но он был справедлив и его боялись. Мой муж должен был оставить мягкость своего характера и пригрозить всей этой сволочи: иначе довели бы до крайности терпение бедной матушки, и без того

---

<sup>1</sup> Корнильев был знаком с Пушкиным, Боратынским, Погодиным. О нем см.: Дельвиг А. И. Мои воспоминания. Т. 1. С. 140—141.

совершенно измученной тяжестью своих горестей... Я почти уверена, что в начале сентября я буду уже у своего очага в Петербурге...»

Вернувшись в Петербург 7 октября 1828 г.<sup>1</sup>, С. М. Дельвиг очень не скоро собралась написать подруге. Наконец 10 января 1829 г. она писала, сообщая Карелиной о новой своей дружеской связи — с Анной Петровной Керн, — некогда воспетой Пушкиным. Знакомство с этою дамою, не отличавшеюся большою строгостью нравов<sup>2</sup>, оказало на Софью Михайловну большое влияние и, по-видимому, содействовало тому, что в семью Дельвига внесен был элемент бесшабашного флирта, не всегда невинного<sup>3</sup>. Впоследствии Керн написала свои воспоминания о Дельвиге, в которых с восторгом отзывается о нем: «Дельвиг, могу утвердительно сказать, был всегда умен! И как он был любезен! Я не встречала человека любезнее и приветливее его. Он так мило шутил, так остроумно, сохраняя серьезную физиономию, смешил, что нельзя не признать в нем истинный великодушный юмор. Гостеприимный, великодушный, изысканный, он жил счастливее всех его окружающих... Название поэтического существа вполне может соответствовать ему, как благороднейшему из людей» и т. д.<sup>4</sup> Тем не менее она не только не способствовала ограждению этого «лучшего из мужей» от семейных огорчений, но ввела в его дом своего кузена Вульфа, донжуанские наклонности которого были ей хорошо известны и который не замедлил начать ухаживать за Софьей Михайловной<sup>5</sup>. Вот что последняя писала в упомянутом письме от 10 января 1829 г.:

<sup>1</sup> Пушкин и его современники. Вып. 21—22. С. 14, 217.

<sup>2</sup> О ней см. нашу книжку «Анна Петровна Керн, по материалам Пушкинского Дома», изд. Сабашниковых, М., 1924.

<sup>3</sup> Об этом см.: *Дельвиг А. И.* Мои воспоминания. Т. 1. С. 74—75.

<sup>4</sup> См. воспоминания А. П. Керн «Дельвиг и Пушкин» (Пушкин и его современники. Вып. 5); в них много ценных данных для характеристики Дельвига-человека.

<sup>5</sup> См. «Роман декабриста Каховского» в наст. изд. Знакомство С. М. Дельвиг с Керн и затем — с А. Н. Вульфом началось еще в 1827 г. (см. выше, с. 295). По приезде ее из деревни оно возобновилось с новой силой. В дневнике ухаживавшего за С. М. Дельвиг А. Н. Вульфа читаем под 18 октября 1828 г., как к Дельвигу, в его отсутствие, когда Вульф и Софья Михайловна были наедине, «вдруг явился Пушкин. Я почти был рад такому помешательству. Он пошутил, поправил несколько стихов, которые он отдает в „Северные цветы“, и уехал. Мы начали говорить об нем; она уверяла, что его только издали любит, а не вблизи; я удивлялся и защищал его; наконец она, приняв одно общее мнение его о женщинах за упрек ей, заплакала, говоря, что это ей тем больше, что она его заслуживает» (Пушкин и его современники. Вып. 21—22. С. 16—17).



«...Муж мой целует твои ручки и посылает „Северные цветы“ и новую повесть Баратынского... Что тебе сказать о моем житье-бытье? Плетнева вижу не очень часто; он занят уроками великих княжен, у которых обязан быть почти всякий день. Якимовских вижу иногда; у них сын 11 месяцев, Николай, очень похож на Ф. Ф. — Саша весела и счастлива, дела их идут хорошо. Я выезжаю мало, но приглашаю иногда к себе, — всё почти литераторов или музыкантов; ежели тебя это интересует, я когда-нибудь расскажу тебе, кого именно, чтобы ты знала, что я делаю, с кем бываю и т. д. Из дам вижу более всех Анну Петровну Керн; муж ее генерал-майор, комендант в Смоленске; она несчастлива, он дурной человек, и они вместе не живут около трех лет. \*Это добрая, милая и любезная женщина 28 лет; она живет в том же самом доме, что и мы, — почему мы видимся всякий день; она подружилась с нами и принимает живое участие во всем, что нас касается, — а следовательно, и в моих друзьях, т. е. в частности в тебе, особенно после того, что я дала ей некоторые твои письма; она в восторге от тебя и любит тебя, хотя с тобою и не знакома. В настоящую минуту я пишу в ее комнате, и она просит меня сказать тебе тысячу любезностей,\* а именно, что она тебя нежно целует; я хочу, и она тоже хочет, чтобы вы познакомились \*(заочно посредством меня); полюби ее,\* и тогда я в моих письмах поговорю подробно о ней и ее положении, если ты мне это позволишь. Скажи ей также что-нибудь ласковое в ответ на то, что она поручает мне сказать тебе, а я ей это покажу...

*Притиска.* Аннет Керн недовольна тем, что я сказала тебе от ее имени, она утверждает, что я недостаточно хорошо объяснила тебе то, что она чувствует к тебе: она хочет чего-нибудь еще более нежного. \*Она говорит, что она никого еще не любила *заочно* так, как тебя. Видишь ли, как она с тобой *заочно* кокетничает...\*

В следующих письмах снова встречаем имя Керн и даже ее приписку.

«Я pošлю тебе иголки, которые ты просишь, завтра или послезавтра с „Северными цветами“, которые мой муж для тебя приготовил... Я была больна весь этот месяц, как и предыдущий, а в общем, я в продолжение всей зимы чувствовала себя нехорошо, особенно же в последнее время: я страдала спазмами в груди, головными болями и сердцебиениями почти до обморока; этот последний недуг особенно невыносим; поэтому я решила следовать предписаниям моего врача, который назначил мне пустить кровь; это меня очень облег-

чило; тем не мене я еще должна жаловаться на свое здоровье. Мне советуют путешествовать, часто переменять место, я же не люблю такую жизнь; но чего не сделаешь для здоровья! Летом, я думаю, мы поедем на некоторое время в Москву; отец мой будет там и назначил нам там свидание. Мой муж равным образом не чувствует себя хорошо; он поручает мне сказать тебе тысячу вещей и целует тебе ручки... Аннет Керн наказала мне поговорить с тобою о ней, познакомить тебя с нею и на этот раз сказать тебе еще больше нежностей от ее имени, чем я сказала в предыдущем моем письме. Мы часто говорим о тебе, — я рассказываю ей о наших былых шалостях, о нашей взаимной дружбе, она очень всем этим интересуется и любит тебя по моим рассказам»<sup>1</sup>.

«...Ты, я думаю, получила „Северные цветы“ и иголки, — пишет она через неделю. — Через несколько времени я пришлю тебе еще кой-чего почитать; жаль мне тебя, мой ангел, — Библию читать хорошо и похвально, но беспрестанно и ничего более не читать — не слишком весело.\* По поводу Библии: я получила на этих днях длинное послание на немецком языке, которое меня изумило и доставило удовольствие в то же самое время: оно было от Черлицкого, который вдруг оказался в Москве (я ничего не знала о его отъезде): он поехал туда в то время, как я была в Харькове. \*Пишет, что он принял Греческое исповедание, называет меня самыми святыми именами: *meine werthgeschätzte Freundin im Herrn*<sup>2</sup> и проч., и говорит, что не может забыть наших разговоров... Ты спрашиваешь об Саше Якимовской<sup>3</sup>, — мы ее довольно редко видим, потому что она живет от нас ужасно далеко; однако ж я могу сказать тебе, что сыпь ее почти в прежнем положении, а сын ее чист; она иногда бывает чиста, а иногда вся покрывается сыпью, как прежде. Собирается лечиться у одного медика, который делает чудеса, т. е. вылечивает очень скоро от самой жестокой золотухи (естественными средствами, однако же). У Анны Петровны [Керн] дочка с помощью его совсем выздоровела, а была тоже вся покрыта золотухой. Эту дочку зовут Ольгой, ей 2 года с половиной.\* (Ты спрашивала у меня подробностей об Аннет, — вот они). Вот уже три года, как она оставила своего мужа; он — отвратительный человек, от коего она много выстра-

<sup>1</sup> Из письма от 11 февраля 1829 г. из Петербурга.

<sup>2</sup> моя сердечная подруга перед Господом (нем.).

<sup>3</sup> Александра Дмитриевна Якимовская умерла 7 марта 1891 г., на 86-м году.

дала; он теперь комендант в Смоленске; несколько дней тому назад прошел слух, что он умер, к сожалению, ложный. Аннет замужем 12 лет, из которых с мужем провела лишь 4 года; \*она два раза сходилась, но теперь, кажется, уж навсегда рассталась.\* Она рожденная Полторацкая; ее отец и мать живут в Малороссии, где у них имение, а она живет здесь из-за своей старшей дочери, девочки 11 лет, которая в монастыре. Она должна была поместить ее туда, чтобы спасти ее от плохих забот ее отца, который взял бы ее к себе при их разъезде. \*Ты знаешь, что это так водится.\* Это очаровательная женщина, повторяю это еще раз. То, что ты написала мне на ее счет, доставило ей невыразимое удовольствие, и она пожелала непременно поблагодарить тебя за это сама. Посылаю тебе при сем строки, ей к тебе обращенные. \*Что тебе сказать о Плетневе? Он совсем испортился: считается визитами, т. е. его дура жена, и он туда же дурачится... Муж целует твои ручки; он все болен, бедный, лихорадкой, — всю зиму хворает: то рюматизмом, то тем, то другим...\*

*Приписка А. П. Керн.* Не удивляйтесь, Милостивая Государыня, интересу, который вы сумели мне внушить и который я беру смелость Вам выразить лично, несмотря ни на что. Я имела случай прочитать некоторые из ваших писем, — я попросила Соню их мне показать, насколько это было возможно, — и поговорить со мною о Вас поподробнее. Поэтому я Вас знаю так же хорошо, как хотела бы, чтобы Вы меня знали. Этого достаточно, чтобы Вы знали, что я питаю к Вам самую нежную дружбу. Не откажите мне в Вашей дружбе. А. Керн<sup>1</sup>.

В следующем письме находим рассказ о болезни Дельвига и его тестя, старика М. А. Салтыкова.

«...Мое здоровье улучшается заметно, здоровье моего мужа также доставляет мне гораздо меньше беспокойств: с возвращением весны к нему начинают возвращаться силы — и время уже, так как он оправдывал пословицу: „болезнь входит пудами, а выходит...“ и т. д. Его внешность никогда не заставила бы меня бояться, что он человек слабого здоровья; но он доказал мне, что это вовсе не то, что доказывает его сильное сложение: в течение всей этой зимы он страдал, как женщина, полным расстройством нервов, и я, никогда не будучи сильной в этом отношении, не могу теперь больше жаловать-

---

<sup>1</sup> Из письма от 19 февраля 1829 г. На обороте приписки А. П. Керн находится еще приписка А. Д. Якимовской.

ся на себя... Что касается моего отца, к несчастью, я получаю от него письма одно тревожнее другого; лишь сегодняшнее меня немного успокоило; 3 или 4 месяца он болен; по всему видно, что на него снова нашла его ипохондрия, но в более сильной степени; он жалуется также на перемену в нервной системе и говорит, что у него длительная лихорадка; здешние врачи, которым я показывала его письма, говорят, что это всё пустяки, но тем не менее он слаб, не спит, страдает, — а это очень огорчает меня. Он находится у моей тетушки Пассек, откуда он не может выбраться по причине своей большой слабости, вызванной бессонницей, лишениями в пище... В мае месяце он думает ехать в Москву, чтобы хорошенько полечиться, и мы поедем туда, чтобы повидать его в начале или в течение июня месяца»<sup>1</sup>.

«...Я уже говорила тебе, — сообщает она 23 мая, — что мой отец болен; он чувствует, что видимо слабеет, и хотел бы иметь нас около себя в Москве, куда он должен приехать в этом месяце, чтобы там устроиться, потому что он назначен там сенатором... Я надеюсь, что его здоровье восстановится, так как ему уже гораздо лучше; но это не мешает мне предпринимать шаги для исполнения его желания, ибо в его возрасте он не может часто делать путешествия, чтобы видаться с нами; к тому же он совершенно одинок в Москве. Мой муж хлопочет перейти туда на службу, и возможно, что к концу лета или осенью мы отправимся на наше новое местожительство. В настоящее время мы переселились в деревню — на Петербургской стороне совсем против Крестовского: это очень приятное место и подходящее для того, чтобы сделать лечение моего мужа более действительным, так как воздух там более свежий и более чистый, чем в городе, и там больше возможностей приятно гулять, — а это необходимо для моего мужа, который принимает травяной отвар и должен при этом много ходить. Я надеюсь, что здесь он окончательно поправится. Между тем не бойся за свои письма: ты знаешь, что Аннет Керн живет в том же доме, который мы занимали в городе: она получает все наши письма и пересылает их нам; да и дворник тоже получил приказание по этому предмету, так как возможно, что Аннет приедет жить к нам, нуждаясь в более свежем воздухе для своей маленькой. Во всяком случае, пиши мне по адресу: В книжный магазин Ивана Васильевича Сленина, у Казанского

---

<sup>1</sup> Из письма от 26 апреля 1829 г.

моста, в доме Енгельгардта; он всегда будет пересылать нам наши письма, в каком бы месте мы ни находились. Как только я приеду в Москву, я сообщу тебе свой адрес... Мой муж передает тебе тысячу нежностей и поручает сказать тебе, что он сделает необходимые справки по делу, о котором ты ему говоришь, и даст тебе ответ, как только будет иметь его для тебя...»

Однако переезд Дельвигов в Москву не состоялся.

«...Не знаю, писала ли я тебе, что я на даче, — читаем в письме от 18 июня, — и что Анна Петровна также переехала ко мне на лето. Мне здесь очень хорошо... Я живу близко Нарышкиной дачи, а ты знаешь, что Аннет Елагина<sup>1</sup> вышла за Орлова, секретаря Нарышкина; поэтому она живет в этой деревне, в очень милом отдельном помещении, т. е. во флигеле. Ее муж не красив, но любезен, предупредителен и не лишен ума, хотя (что бывает довольно редко) в то же время очень добродушен. У них дочка полутора лет, по имени Аннет... Скажи, ради Бога, прислала ли я тебе *Бал*, повесть в стихах Баратынского? Не могу вспомнить, а хотелось бы знать для очищения совести...»

Осень застала Дельвигов еще на даче, откуда они не скоро переехали в город.

«...Мы еще в деревне, и возможно, что мы отсюда поедem в Москву, так как, не имея квартиры в городе, ее нужно искать и подвергнуться всем неприятностям переселения, быть может на короткое время, ибо дела, удерживающие моего мужа здесь и делающие время нашего отъезда столь неверным, тоже могут кончиться с минуты на минуту; однако, если мы не уедем в середине сентября, надобно будет выезжать отсюда, так как у нас будет очень холодно. Все это не должно тебя смущать: пиши мне всегда на адрес Сленина, — *впредь до нового распоряжения*. Если мы поедem в Москву, то это лишь для того, чтобы провести там некоторое время с отцом моим (не более 3 месяцев, после чего мы возвратимся сюда)... \*Не сердись, душенька, за мою неисправность на счет книг; все пришлю тебе; теперь у нас нет ни одного экземпляра Стихотворений моего мужа, т. е. в доме нет, и он не замедлит достать и отправить к тебе\*»<sup>2</sup>.

Узнав о появлении cholera morbus в Оренбурге и о какой-то болезни А. Н. Карелиной и ее детей, С. М. Дельвиг писала: «Ты бу-

<sup>1</sup> Анна Афиногеновна Орлова, рожд. Елагина (1808—1884).

<sup>2</sup> Из письма от 2 сентября 1829 г.

дешь жить, ты будешь здорова, — или Провидения не существует. Твои дети также будут сохранены. Говорят, что эта болезнь не трогает детей и беременных женщин. Что касается припадков Сониньки, то я скажу тебе, мой ангел, что у моего мужа, как говорят, были точно такие же вплоть до 11-летнего возраста, все думали, что это падающая болезнь, — у него были все симптомы ее, а потом оказалось, что это были глисты... Сообщила ли я тебе мой новый адрес? \*На Владимирской в доме Тычинкина...»<sup>1</sup>

В это время Дельвиги собирались ехать в Москву, — и больной В. Л. Пушкин (поэт) писал своему брату Сергею Львовичу 3 декабря, что М. А. Салтыков ожидает с любовью и нетерпением дочь и зятя<sup>2</sup>. Но поездка замедлилась: Дельвиг нелегко подымался с места.

«...На днях получила я твое письмо от 10 декабря, радость моя Саша! — пишет Софья Михайловна 30 декабря. — Оно так исколото, что сначала очень меня испугало. Но слава Богу, ты меня успокоила и утешила меня известием, что cholera вас оставила... Говорила ли я тебе о нашем проекте съездить в Москву на некоторое время? Если нет, то нужно, чтобы я сказала тебе, так как отъезд наш уже очень близок: он назначен на 2 или 3 января, т. е., наверно, через три дня... Мы едем налегке и очень ненадолго: через четыре недели мы вернемся (считая путешествие и пребывание в Москве). Единственная наша цель — повидать папá, который устроился на житье в Москве, по той причине, что он сделан там сенатором; служба и частные дела моего мужа не позволяют нам отсутствовать дольше. Сборы наши невелики, и я до сегодня не знала, когда именно мы едем, оттого и я тебя не уведомила об этом. Из Москвы непременно буду писать к тебе. У меня в течение 4 месяцев был очень сильный кашель, что заставило нас откладывать наше путешествие; иначе мы провели бы праздники и начали год вместе с моим отцом: это было его и наше желание. Теперь время сказать тебе одну вещь, которая тебя, конечно, порадует, ибо она очень радует меня. Угадываешь ли ты ее? Меня очень смущало, что я до сих пор не сообщала тебе о чем-то, что доставляет мне удовольствие, что составляет мое счастье; но я не осмеливалась говорить, так как не была уверена в этом; этого так долго мы желали, что я уже потеряла всякую надежду видеть мое желание исполнившимся, и я не решалась поверить

<sup>1</sup> Из письма от 21 ноября 1829 г.

<sup>2</sup> Пушкин и его современники. Вып. 21—22. С. 364.

исполнению его. Но теперь я не могу сомневаться в этом и могу, наконец, сказать тебе о том. Да, мой друг, я буду матерью. Невозможно дать тебе представление о чувствах, наполняющих мое сердце, но я уверена, что ты разделишь мою удовлетворенность, ты, которая всегда так хорошо меня понимала и интерес которой ко мне никогда не изменялся. Мой муж не из числа тех, которые не чувствуют от этого удовольствия. Он очень доволен! Отец мой тоже!..»

Следующее письмо датировано уже Москвою, куда Дельвиг поехал для свидания с тестем, уполномочив Пушкина заведовать редакцією только что основанной «Литературной газеты». Приводим это письмо в той части, которая представляет общий интерес:

Москва, 13 января <1830 г.>

Исполняю обещание, данное тебе, мой ангел, — написать тебе из Москвы, хотя все мое время поглощается пустяками, которые заставляют кружиться мою голову и не позволяют мне заниматься тем, что меня больше всего интересовало бы. Тем не менее я могу сказать тебе несколько слов и чувствую к тому потребность. \*Хочется хоть немного отвести душу. С тех пор как мы здесь, я веду такую глупую прозаическую жизнь, что ни на что не похоже. Мы отправились из Петербурга 3-го янв., а приехали сюда 5-го, потому что ночевали каждую ночь. Со всем тем я очень утомилась. Отец очень нам обрадовался; мы у него остановились. На другой день, несмотря на то, что я еще не успела отдохнуть, надобно уж было принимать и делать визиты, — видеть людей, с которыми вовсе не хотелось бы знаться, знакомиться, слушать и самой делать глупые уверения. Ох, как это все мне надоело!\* Да здравствует Петербург! Там можно вести такой образ жизни, какой хочешь! Здесь — как в провинции! Родные сыплются на вас дождем, душат вас в своих объятиях, новые знакомства неизбежны даже тогда, когда приезжаешь сюда на две недели, как мы. Но спрошу тебя, каково удовольствие приехать сюда на две недели, чтобы повидать своего отца, и почти не видеть его, будучи обязанной проводить время на улицах с утра до вечера. Даже мой отец не противится этому, — наоборот, так как он обосновался здесь, то он завязал отношения, знакомства, нашел родственников, — все сердились бы на него, если бы он не повез меня им на показ. Завтра или послезавтра мы рассчитываем сделать небольшое путешествие в Тульскую губернию, чтобы повидать в деревне мою свекровь; это так близко, что путешествие и пребывание

там продлится всего лишь 6 дней. \*Я немного отдохну там, — потом приедем сюда дней на 6, а к первым числам февраля будем в Петербурге. Муж спешит туда: он кроме „Северных цветов“ начал с 1-го января издавать „Литературную газету“, которая выходит каждые пять дней; без себя он препоручил хлопоты А. Пушкину, но все-таки лучше скорее самому ехать смотреть за своим делом. Ты непременно будешь получать эту газету. Извини меня, родная, что я пишу такое глупое, неинтересное письмо. Мочи нет, как я одурела от этой сумасшедшей жизни. Прости, мой ангел...\*

По возвращении в Петербург Софья Михайловна писала:

«Наконец я опять в Петербурге, милый мой друг Саша. В Москве меня задержали гораздо дольше, нежели надлежало бы.\* Я совершила путешествие с большою медленностью, так как я легко устаю и чувствую себя более тяжелою, чем многие мои знакомые женщины, которых я видела в моем положении. Но вот я отдохнула совсем и довольно здорова... Я не показала моему мужу твоего предыдущего письма, так как ты этого не хотела (без того это не пришло бы мне самой в голову, — ты права была, думая так). Но как плохо ты знаешь его, если полагаешь, что то, что ты сказала, могло поссорить его с тобой! Ставлю себя на твое место, и он сделал бы то же самое; я понимаю (и он понял бы), что ты могла быть нетерпелива оттого, что я тебе не говорила в подробностях о том деле; да и чего не скажешь в минуту досады? Я еще нахожу, что досада, в которой ты находилась, внушила тебе слова очень умеренные. Надеюсь, что минуту спустя у тебя уже не было в мыслях сдерживать глупые обещания никогда ничего не просить у моего мужа, — „хоть бы дело шло не только о твоём счастье, но и о жизни твоей“\*. Подобных вещей не говорят своим друзьям иначе, как в минуту вспыльчивости. Я не сомневаюсь, что ты сама находишь теперь эту фразу смешной. \*Подробности в деле Ахматовых состоят всё в том, что они просили моего мужа им помочь, что он со своей стороны сделал все, что мог, но имел несчастье стараться безуспешно, по глупости и недоброхотству Министра Просвещения (известного с этой стороны человека). Наконец Ахматовы обратились с просьбою к Лонгинову, который и доставил им награду от Государя. Сделай милость, не сердись на меня... Надеюсь, что ты нашла разницу между „Литературною Газетою“ и другими журналами. У нас — критика, а не брань, и критика хорошего тона, не правда ли? Пушкин достав-



ляет много своих статей. Разбор Истории Полевого и многие другие критические статьи принадлежат ему. Не правда ли, — хороша его проза? *Асамблея* — отрывок из его же романа, только не говори об этом никому<sup>1</sup>. Я теперь не много читаю: трудно глазам и голове, потому что кровь поминутно бросается к голове.\* Я занимаюсь *хи-жинкою* маленького или маленькой Дельвиг, и ты не поверишь, как это меня забавляет и занимает. Я вижу мало людей, но те, кого я вижу, очень мне приятны. Сомов и Пушкин — наши завсегдатаи, — они приходят ежедневно, так как это — главнейшие сотрудники моего мужа...»

Между подругами, очевидно, пробежала кошка, — и Софья Михайловна замолчала на целых восемь месяцев; она не уведомила Карелину даже о том, что у нее 7 мая 1830 г. родилась дочка Елизавета<sup>2</sup>.

Извиняясь и оправдываясь на целых двух страницах в своем молчании, С. М. Дельвиг писала подруге 6 ноября 1830 г.: «Поговорю с тобой о моей Лизе, которую ты, без сомнения, полюбишь, как я люблю твоих детей. Она очень мила, а в моих глазах — восхитительна. Завтра ей исполнится 6 месяцев, но у нее нет еще ни одного зуба. Я продолжаю кормить ее и чувствую себя от этого хорошо, она, как кажется, тоже, так как до сих пор она была вполне здорова. Мне кажется, что в настоящее время она похожа на моего мужа, портрет которого (сказать в скобках), у тебя находящийся, очень не совершенен... Я более месяца нахожусь в смертельном страхе о моем отце, который заключен в стенах Москвы, без возможности выехать оттуда по причине карантинных, которые содержатся вокруг города с тех пор, как эта проклятая *холера* свирепствует в нем. Ты знаешь по газетам, конечно, в какой степени она там царствует. К счастью, мой отец сообщает о себе через день и принимает все предосторожности, какие только можно предпринять, а их столько предписали и столько напечатали по этому вопросу! Тем не менее я не могу не быть в живейшем беспокойстве. Я нахожусь поистине в жалком состоянии. Что касается нас, то кажется, что мы в безопасности. Петербург окружен тройною цепью, правительство приняло самые ра-

---

<sup>1</sup> «Ассамблея при Петре I» — отрывок из «Арапа Петра Великого», напечатанный в «Литературной газете» (1830. Т. 1. № 13. 2 марта. С. 99—100). — *Ред.* (1929).

<sup>2</sup> Извлечение из письма С. М. Дельвиг к А. П. Керн от <21 июля> 1830 г. с сообщением о Пушкине см.: Пушкин и его современники. Вып. 5. С. 150.

зумы меры для того, чтобы гарантировать нас от эпидемии; предосторожности доведены даже до крайности. \*Мы все куримся, бережемся как нельзя больше.\* Ты получишь это письмо проколотым, я думаю, — это потому, что оно должно пройти через Москву, и это не должно тебя удивлять... Когда я буду более спокойна, я напишу тебе более подробное письмо о моем житье-бытье и о Лизе. Я также примусь читать „Эмиля“, чтобы попытаться извлечь оттуда то, что сочту могущим быть приспособленным к ее воспитанию... Лиза доставляет мне минуты и дни истинного наслаждения, так же, как и своему отцу, который — нежнейший отец, какого я когда-либо видела, — как и лучший из мужей... Получаешь ли ты исправно „Литературную газету“?..»

В письме от 6 ноября она сообщала некоторые подробности о новорожденной, об отце и муже, а затем писала 18 ноября:

«...Лиза, слава Богу, не причиняла еще нам огорчений, но я чувствую, что нужно будет пройти через много испытаний, — нужно к ним приготовиться и постараться покориться им. До сих пор она здорова. Третьего дня она доставила мне величайшее удовольствие, которое ты, конечно, поймешь: у нее вышел первый зуб, — и почти без всякой боли... Ей седьмой месяц, — говорят, что это довольно рано для прорезывания зубов и что это показывает, что дитя развивается быстро. Как бы то ни было, лишь бы дело шло благополучно, — это все, чего я желаю... Я все время в беспокойстве за папá. У него припадки ипохондрии, его письма слишком отзываются ею, чтобы не расстраивать меня. Суди, что я должна испытывать, читая их, — посылаю тебе одно из них, чтобы дать тебе понятие о той сердечной грусти, которую я испытываю по нескольку раз в неделю, потому что все письма писаны в том же тоне. Что касается моего брата, то он в безопасности до сих пор: в Польше, в имении своей жены; он отец трех сыновей... Муж мой целует твои ручки и ножки. Он премилое, преблагородное существо. Люби его... Г-н Плетнев говорит тебе тысячу вещей и питает к тебе тот же интерес. Он очень нежный отец. Очень жалко, что его жена — существо более чем прозаическое, которое не умеет понять и оценить эту прекрасную душу».

Письмо М. А. Салтыкова, приложенное к письму С. М. Дельвига, написано по-французски; даем здесь полный перевод его, чтобы познакомить со стилем писем старого арзамасца и с его настроением:

8 ноября &lt;1830 г.&gt;

Дорогая Соня! Очень тебе благодарен за то, что даешь мне частые вести о себе. Я только что получил твое письмо от 31 октября. Уже несколько дней, как бюллетени (холерные. — *Б. М.*) менее пугают нас, но слухи продолжают нас волновать, — невозможно заткнуть себе уши. Я оставался дома в продолжение некоторого времени, чтобы ничего не знать, — но мои люди приходили говорить мне обо всем, что они слышали. В течение двух суток я чувствовал колющие внизу левого уха и жестокое биение артерий. Я пользовался тогда одеколоном. Я с благодарностию получил бы одеколон, который ты намереваешься прислать мне, если позволена будет пересылка пакетов, — так как здесь нет хорошего. Я грустно провожу день моих именин. Вчера был я у Догановских<sup>1</sup>, к которым я езжу только для того, чтобы составить партию хозяйке; между тем невозможно избежать и не слышать рассказов о том, что делается; утверждают, что эпидемия уменьшается, но что она перерождается в тиф, и что теперь преобладает госпитальная лихорадка. Спроси твоего врача, что такое тиф, — это хуже холеры, это нечто ужасное. Одна княгиня Щербатова и младшая из трех ее дочерей были в опасности и на этих днях. Не знаю, лучше ли им; может быть, их больше не существует. Морозы начались, но еще нет настоящей зимы. Я буду более спокоен, когда ты сообщишь мне, что на Неве идет лед и что ваши каналы покрываются льдом. Я ничего не пишу Левашовым; если бы они были здесь, я часто их видал бы; писать же мне невозможно: я должен отвечать на множество служебных писем. Сонцов<sup>2</sup> умоляет меня давать ему известия о себе два раза в неделю; он в Зарайске, в 150 верстах отсюда. Я пишу моей belle-soeur, Мише<sup>3</sup>, в деревню, г-же Шереметевой<sup>4</sup>, — я провожу полдня с пером в руке. Когда я еду в Сенат, я читаю накануне кучу бумаг. Ты можешь судить по этому, есть ли у меня время заниматься своим делом, — поэтому я принял решение сносить все беспорядки в доме. Все идет вверх

---

<sup>1</sup> Вероятно, это известный в Москве игрок Василий Семенович Огонь-Догановский, в сети к которому попался однажды и Пушкин (см.: «Пушкин под тайным надзором» в наст. изд.; *Пушкин А. С.* Письма. Т. 2. С. 93, 440—441).

<sup>2</sup> Матвей Михайлович, дядя Пушкина, муж его родной тетки Елизаветы Львовны.

<sup>3</sup> Сыну М. М. Салтыкову, единственному брату С. М. Дельвиг.

<sup>4</sup> Вероятно, Надежде Николаевне Шереметевой, рожд. Тютчевой, матери жены декабриста И. Д. Якушкина. — *Ред.* (1929).

дном, — если бы я заболел, то я мог бы ожидать помощи только от Провидения. Вот мое положение. Жизнь не должна представлять ничего хорошего для старика, который живет в уединении и который, в случае опасности, не может надеяться ни на какую помощь. Если бы я был свободен, я жил бы при тебе и ты закрыла бы мне глаза. Несчастье преследует меня. Я могу надеяться на возмездие только в будущей жизни. Восемь последних лет моя жизнь соткана из горестей и скорбей, в которые вплетены несколько шелковых нитей. Я прошел сквозь жестокие испытания; то, что я выстрадал, неизвестно даже моим друзьям, и чудо, что я смог пережить бедствия, которые на меня свалились. Воспоминание о них возвращается, иллюзии рассеялись, я отказываюсь от всех мечтаний сего света, я буду заниматься только своим последним часом. Сожги все мои письма: уверяют, что болезнь впитывается во все предметы, — возможно, что бумага делается проводником ее. Окуривание ничего не стоит. Уезды, которые оцеплены и не имеют никакого сообщения с зараженными городами, — не затронуты. Санитарные постановления, если они хорошо соблюдаются, спасут вас. Вот уже два месяца, что эпидемия в Москве. Число больных третьего дня было 1096, сегодня — 935; если это уменьшение продолжится, можно полагать, что эпидемия исчезнет к половине декабря, — но она может породить другие болезни. Следовало бы иметь в три раза больше больниц, чтобы больные не были так скучены, как они скучены теперь. О, мой дорогой друг! Как ужасно наше положение! Как тревожно! Что за век! Неужели мы больше виновны, чем наши предки? Надо так думать. Я не пишу вовсе к твоему мужу, чтобы избавить его от ответа мне. У тебя больше досуга, чем у него, — и я не освобождаю тебя от этой обязанности. Продолжай, как начала. Передай мой привет Левашовым и Вишневым. Я не буду менять квартиру, как бы плохо в ней ни было, только бы в ней не случилось со мной несчастья. Мои люди здоровы, и я еще на ногах. Желудок мой то хорош, то плох; я питаюсь только габерсупом и одной котлеткой. Сплю очень худо. Ум мой отягчен мрачными мыслями. Наслажусь ли я еще одним проблеском счастья или спокойствия? Я не могу себя в этом уверить. О, как печален конец течения моей жизни! Я слишком много пожил. Прости эти излияния, — я думал, что мне будет легче. Небо похитило у меня всех моих друзей, — у меня только и есть, что ты. Прощай, дорогая Соня! Мое благословение не может принести тебе пользы, — я слишком несчастлив. О, если бы

ты могла не познать тех испытаний, через которые я прошел! Обнимаю твое дитя и твоего мужа. Я чувствую себя крайне утомленным; иду отдохнуть и постараюсь если не заснуть, то, по крайней мере, подремать. Я писал Мише 4 или 5 раз с тех пор как вернулся. Он выражает мне дружеские чувства. Поблагодари его.

«...Что сказать тебе о себе? — писала Софья Михайловна 4 декабря 1830 г. — Я продолжаю исполнять, как умею, сладкие обязанности кормилицы; существуют, к несчастью, женщины, которые говорят, что обязанности эти тягостны. Я их жалею: они лишены наслаждения, которое немного больше стоит, чем их светские удовольствия, ради которых они жертвуют этим долгом. Моя маленькая Лиза становится очень миленькой, она прекрасно знает нас — отца и меня, — она очень живая, любит, когда ее подбрасывают; мой муж делает это лучше, чем я, потому что он сильнее меня, а она немножко тяжела; поэтому она вся приходит в оживление от удовольствия, видя, как он подходит к ней. Эта малютка доставляет мне минуты несказанного наслаждения. О! мой друг! Почему ты не здесь? Ты разделяла бы все мое счастье во всех этих подробностях, — оно не может быть описано со всеми оттенками: их нужно чувствовать вместе, и еще нужно иметь такое существо, как ты, для того, чтобы их понимать. Отчего ты также не около меня для того, чтобы наложить бальзам на все раны, которые меня раздирают? Ибо — скажу ли тебе? — несмотря на все это счастье, этот мир уходит, несмотря на сокровище, которым я владею в лице моего мужа, — на эту невыразимую сладость материнской любви, — у меня есть горести, и горести жгучие, о которых я не могу тебе сказать. Ты была бы единственным существом в свете, которое бы могло выслушать меня и меня понять. Если мы когда-нибудь свидимся, все будет выяснено, я не могу ничего доверить бумаге. Я получила свежие новости от моего отца: он более спокоен, и газеты подтверждают все, что он говорит мне об эпидемии в Москве. Я читаю все санитарные бюллетени, печатаемые ежедневно: последние дают мне право надеяться, что вскоре не будет вовсе никакой опасности и что мы сможем вздохнуть свободно...»

В письме от 11 декабря находим характерные отголоски размышлений Софьи Михайловны по поводу предстоящих ей забот о воспитании дочери:

«...Скажи мне, что ты думаешь о методе Руссо? С этого момента я читаю „Эмиля“; в нем есть пункты, которым я очень хотела бы

следовать, — другие, — которые мне кажутся немножко *софизмами*, увлекающими своим красноречием, иные, — которые были бы превосходны, если бы обстоятельства, век, в который мы живем, и тысячи других соображений не делали их неприменимыми. Он предвидел, сколько трудностей представляет исполнение его предначертаний, но мне кажется, что их еще гораздо больше, чем он предвидел. Что наиболее трудно, — это приспособление всего того, чем хотят воспользоваться, к характеру ребенка; все это следует хорошенько изучить, — и все-таки можно сильно ошибиться. Часто ошибка является источником многих несчастий в подобном случае. Я не смотрю на „Адель и Теодор“ мадам Жанлис как на книгу, из которой нельзя извлечь ничего полезного касательно воспитания. Это химерические планы, которые могут быть осуществлены лишь людьми с несметным состоянием, — не говоря уже о том, что они ошибочны сами по себе, во многих отношениях, — это роман, который можно читать с удовольствием в первый молодости, вот и все. Когда бы-ваешь призван к делу столь важному, столь трудному, как воспитание, и когда хочешь прочесть сочинения, которые были написаны по этому вопросу, — то не знаешь, с каким достаточным вниманием отнестись к нему, насколько нужно взвесить какой-нибудь план прежде, чем начать применять его, и сколько внимания требует подобное чтение. Особенно следует быть осторожным с писателями, обладающими красноречием: они наиболее опасны, — они убеждают вас и увлекают красивыми результатами, которые они ставят перед вашими глазами, между тем как очень может статься, что эти результаты лишь призрачны и что их приметы произведут эффект, совсем отличный от того, который они предполагают. Очень трудно отличить фикцию от действительности...»

Отвечая подруге, она пишет:

«...Знаешь ли, что, не будучи знакома с г-жей Окуновой, я бесуюсь, что не могу помочь тебе бесить ее. Я имею представление об этом существе. Провинция изобилует подобными женщинами; и действительно, приходится хохотать над их болтовней. Нет ничего смешнее, как они из себя выходят по поводу дел, которые их вовсе не касаются. Я уверена, что эта святоша сама весьма сомнительного поведения. Скажи, — нет ли у нее, или не было ли у нее мужа, раненного в ногу или без ноги? Мой муж говорит, что он знал некую Окунову с раненым мужем. Он говорит, что если это не та, о которой он думает, то надобно предположить, что все дамы Окуновы та-

ковы, как ты описываешь твою, потому что она совершенно походит на этот портрет. Расскажи мне, прошу тебя, все новые сплетни, которые будут передаваться у вас. Это меня очень забавляет. Все говорят о графе Сухтелен<sup>1</sup> так же хорошо, как и ты; я знаю его только в лицо: я давно встретила его однажды, — тогда он показался мне чрезвычайно приятной наружности. Его дочь должна походить на него, если она красива, потому что ее мать вовсе не такова. Помнишь ли, ты ее видала у моей кузины Геннингс (теперь Пушкиной). Мне кажется, она тебе не понравилась тогда. Мне кажется, что ты уже знаешь, что графиня Ольга сделана фрейлиной?.. Я веду жизнь очень уединенную, не выхожу или почти не выхожу. Лиза занимает меня весь день. У нее уже два зуба и, я полагаю, третий уже идет, так как у нее маленький жар. Эта маленькая девица доставляет мне наслаждение, я люблю ее с каждым днем все больше и сама этому удивляюсь, так как думаю, что невозможно с каждым днем все сильнее привязываться к ней, как происходит со мной. Мой муж — очень нежный отец; до сих пор я думала, что ребенок такого возраста не может интересоваться мужчину или, по крайней мере, интересоваться до такой степени, — почти как жену или мать, но он очаровательным образом доказывает мне противное, и ты понимаешь, как я этим довольна...»<sup>2</sup>

«...Мое маленькое семейство здравствует, — писала Софья Михайловна в поздравительном письме от 4 января 1831 г., высказывая добрые пожелания своей подруге, — Лиза занимает меня день ото дня все больше. Благодаря Бога, ее нельзя назвать маленьким чудом, — она ребенок как ребенок; но она — *мое* дитя, вот почему она лучше, чем все другие. Я благодарю небо за то, что люблю ее не за что-либо иное. Я не люблю необыкновенных детей, таких, которых матери показывают, как существа со сверхъестественным умом; это — ослепление; или, если это справедливо, такие дети не живут, что может быть объяснено физически, очень естественным образом. Альманах моего мужа<sup>3</sup> появился; но в настоящее время нам невозможно выслать его тебе, потому что не принимают посы-

<sup>1</sup> Граф Павел Петрович Сухтелен (1788—1833), генерал-лейтенант, генерал-адъютант, с 21 апреля 1830 по 15 апреля 1833 г. был оренбургским генерал-губернатором; его дочь графиня Ольга Павловна (1816—1891) была замужем за Алексеем Павловичем Бутурлиным, сенатором. — *Ред.* (1929).

<sup>2</sup> Из письма от 18 декабря 1830 г.

<sup>3</sup> «Северные цветы» на 1831 г. вышли в свет 24 декабря 1830 г. — *Ред.* (1919).

лок на почту, т. е. когда они должны проходить через местности, где царит холера; можно посылать лишь письма, так как их можно прокалывать...»

Письмо Софьи Михайловны было такое мирное, такое счастливое, — она писала, что ее маленькое семейство здравствует, — а между тем великое горе стояло у нее уже за спиной, смерть подстерегала самого Дельвига. Смерть его (14 января) была совершенно неожиданна. Правда, ей предшествовал ряд жестоких неприятностей, — но они были свойства морального, касались «Литературной газеты», за помещение в которой небольшого стихотворения Казимира Делавиня Дельвиг получил от Бенкендорфа грубейший выговор, — и ничто, казалось, не предвещало его тяжкой, смертельной болезни... Однако смерть пришла и в несколько дней унесла в могилу одного из благороднейших людей эпохи, талантливого поэта и честнейшего писателя. Софья Михайловна с трудом перенесла сразивший ее неожиданный удар, — горе ее было сильно и чрезвычайно остро, — для ее экспансивной, живой натуры потеря мужа была как гром среди безоблачного неба. Она не сразу собралась написать своей подруге, и та узнала о смерти Дельвига из той же получавшейся ею «Литературной газеты», в которой был напечатан тепло написанный Плетневым некролог его друга-поэта, а также стихотворения его памяти В. Туманского, Гнедича и Деларю<sup>1</sup>. Только 3 февраля она села за письмо к А. Н. Карелиной и писала ей следующее:

«Милая моя Саша! Я не имела духу писать к тебе до сих пор. Не вини меня, что узнала о моем несчастье прежде. Я и теперь для того только пишу, чтобы тебя успокоить. Я здорова и даже Лизу кормлю. Не знаю, как я переношу эту ужасную скорбь. Ты верно из газет все узнала? Боже мой! Давно ли я писала к тебе о нем, давно ли рассказывала тебе о семейственном нашем счастье! Теперь все кончилось и — навек! Стараюсь не роптать, но как это трудно! Для Лизы надобно жить. Оставить ее без матери было бы жестоко. Она похожа на него очень. Как он любил ее, — и она никогда не будет знать его!\* Я плачу мало и редко. Я страдаю с каждым днем больше. Начиная с 14 января до сегодня моя горесть все растет. Я хотела бы, чтобы момент, в который я узнала о моем несчастье, теперь вернул-

<sup>1</sup> См. подробнее об обстоятельствах кончины Дельвига в книге «Письма Пушкина к Е. М. Хитрово» (Л., 1927. С. 77—80, заметка М. Д. Беляева, и 83—88, заметка Б. Л. Модзалевского), — *Ред.* (1929).



ся: он кажется мне сладостным по сравнению с теми, которые я провожу с той поры. Я тогда еще не понимала хорошенько то, что произошло со мной; я была как бы в наслаждении горячки. Но затем мое горе стало более глубоким и делается с каждым днем все глубже. Это рана, которая никогда не закроется. Потерять такого друга, как он, в таком возрасте! После того, что я испытала такое глубокое счастье в продолжение 5 лет, — только 5 лет! Можно ли когда-нибудь забыть его! Он был человек необыкновенный и муж необыкновенный. Милая! Да сохрани тебя небо от такого ужасного несчастья! Конечно, я не была достойна такого человека, однако было слишком жестоко отнять его у меня. И он, — как он был создан для того, чтобы быть счастливым, как его чистая душа была готова принимать все приятные впечатления жизни! Как понимал он все прекрасное! Наше дитя было для него источником наслаждений, которые лишь немногие мужчины умеют ценить так, как он, — и он был вырван из этих наслаждений в 32 года. Мой друг, прости мне беспорядочность моего письма, — я не могу ни писать, ни говорить. Я чувствую себя слишком хорошо, и эти физические силы приходят ко мне, я думаю, за счет моральных, но они мне необходимы для Лизы; это мое единственное сокровище; мне нужно жить для нее, сохранить ей по крайней мере ее мать. У меня даже нет права желать смерти. Если он меня видит, если он меня слышит, он упрекнет меня за то, что я слаба и покидаю его дорогую Лизу. Но если бы я, отняв ее от груди, могла, по крайней мере, не прибегая к этому снова, заболеть и притом с сильными страданиями! Физические боли отвлекают от страданий моральных. "Это бы меня развлекло, я бы забылась хоть на короткое время." Скоро Лизе исполнится девять месяцев, мне советуют отнять ее, так как я слаба: мне придется лишиться и этого отвлечения! Дорогой друг! Я получила от тебя много писем за это время, но не могу отвечать на них, извини меня! Прощай, пиши мне, не утешай меня, — утешений для меня не существует, — плачь со мною!

3 февраля 1831.

Твой друг *С. Дельви́г*

«Не беспокойся обо мне, — я только слаба, а не больна»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> На обороте адрес: Александре Николаевне Карелиной в Оренбург. Почтовый штемпель: С. Петербург. 4 фев. 1831; запечатано гербовою печатью Дельви́га на черном сургуче.

Письмо от 26 февраля содержало в себе горячие выражения благодарности далекой подруге за участие ее в перенесенном горе. «Если не существует никаких утешений для такого несчастного существа, как я, мой добрый ангел, — читаем в этом письме, — то, по крайней мере, существует некоторое облегчение для моей страдающей души, — в виде такой подруги, как ты, — которое может помочь мне переносить жизнь, — и в виде сочувствия, подобного тому, какое ты выказываешь ко мне и которое одно только может смягчить положение, в какое судьба меня бросила. Твое письмо вновь раскрыло все мои раны, но и облегчило меня, заставив меня пролить поток слез. До сих пор я плакала очень мало и с физической болью, которую трудно описать. О, моя любимая! Ты одна можешь понять... Я еще держусь, Лиза здорова, но каково мое существование! После 5 лет несказанного счастья быть поверженной в бездну зол! Потерять существо, видеть которое один раз было достаточно для того, чтобы обожать его. О, ты его не знала! Ты еще не знала, какой это был человек! \*И в отношении ко мне что он был? Боже мой! Как я еще живу, как я не сошла с ума! Милая моя Саша! Ты меня утешаешь надеждою, что мы увидимся. Но когда? ежели бы возможно было мне приехать к тебе и жить с тобой всегда, то я бы ни минуты не медлила, полетела к тебе, моему единственному другу. Ты хочешь приехать: можешь ли ты это сделать? Что это будет стоить? Состояние твое невелико, — я знаю. Ради Бога, не делай таких пожертвований! Ты не вправе их делать, — у тебя дети. Но если бы в Москве могли вы поселиться, найти какое-нибудь место для Григория Силыча, — вот это бы хорошо было. Я буду жить в Москве, друг мой. Там мой отец служит (сенатором): он зовет меня, говорит, что он один и стар, и слаб, и что некому ему закрыть глаза. Надобно ехать. Поеду в мас, а лето проведу в Тульской губернии, в деревне у свекрови, которую люблю теперь еще больше. Она ангел, а не женщина, и притом же она мать моего друга незабвенного, и какая мать! И какого сына лишилась!» Он был поддержкою семейства, — они все потеряли. Матушка нуждается в утешении, ей нужно повидать меня, видеть маленькую Лизу. Я хотела бы разделиться между нею и тобою, но необходимо *нужно*, чтобы я подчинилась требованию необходимости, — нужно, чтобы я ехала в Москву, где я буду окружена безразличными существами. Мои дела... вот каковы они. Во время болезни покойного (думаю, что именно в это время) у меня украли ломбардные билеты на

55 тысяч рублей, и у меня остается 44 тысячи капитала (было 99 000); со смертью моего мужа все другие доходы прекратились. \*Оставалось его сочинений, „Северных цветов“, „Литературной газеты“ и пр. несколько экземпляров, которые, когда разойдутся, то окупят только самих себя,\* потому что он был должен за бумагу, в типографию и т. д.; все это, если б он был жив, не могло бы быть рассматриваемо как долги, так как редакция все продолжалась бы и приносила бы что-нибудь, — но теперь?! Я произвела все возможные розыски этих билетов, — все было тщетно: я не знаю их нумеров, а потому невозможно сделать публикацию о них. Все это, однако, не должно произвести на тебя большего впечатления, чем на меня. Все эти заботы рассеиваются перед действительным несчастьем, которое меня угнетает. Прощай, мой ангел, мой единственный друг! Я буду еще много писать тебе, — \*не могу вдруг, голова еще не свежа,\* все в беспорядке у меня в голове. Да сохранил тебя небо. Твоя Соня».

«Саша Якимовская, которая должна родить в мае месяце, несмотря на свое положение, провела у меня 15 дней, спала на полу, вставала ночью, чтобы ходить за мной; каждый день ходила повидать своих детей и сейчас возвращалась ко мне. Ее муж также проявил ко мне истинное внимание, помогал мне заниматься делами и т. д. Надо же к моему несчастью, чтобы эти люди не остались здесь: \*вчера уехали в Олонецкую губернию навсегда: Федор Федорович там нашел себе службу. Плетнев целует твои ручки.\* Этот человек настоящий ангел. Небо еще не лишило меня его: оно еще жалеет несчастных. \*У меня была старая няня, которую ты, верно, помнишь: она за мной ходила, а за Лизой — с таким усердием, что нельзя было лучше молодой женщине ходить, и все умела, — такая опытная! Она умерла, — в 9-й день после него! Теперь у меня Ненила, но более я сама нянчусь\*».

Отвечая подруге 6 апреля на приглашение приехать в Оренбург, Софья Михайловна благодарила ее за это приглашение, но говорила, что не надеется получить согласие отца на это путешествие. «Ты знаешь его характер, трудный в общении, неуступчивый. Конечно, не следовало бы в настоящее время насильствовать мою волю, но посуди, было ли бы благоразумно с моей стороны становиться в дурные отношения с отцом, в особенности когда я должна буду жить с ним. Не будь этого, я не знаю, как сносила бы я все горести, которые меня ожидают к умножению моих несчастий. Я безропотно покоря-

юсь, своей дочери я обязана тою священной сокровищницею, которую оставил мне мой обожаемый друг, и все перенесу ради нее. Но, Саша, как мне будет трудно с отцом! Сознаюсь тебе, что я предвижу минуты, когда я должна буду собирать всю свою храбрость! Письма, которые он мне пишет, не возвещают ничего хорошего. По поводу пропажи моих денег он говорит мне загадочные вещи, которые я боюсь разгадывать. Он не хочет мне ясно сказать, какого рода его подозрения, но мне кажется, что они обидны для памяти того совершенного существа, которое я оплакиваю со всеми благомыслящими людьми. Он говорит мне, что упрекает себя,— не за то ли, что вверил меня Дельвигу, на коего он смотрит как на человека, который не сумел сохранить мое состояние или промотал его. Он не дает объяснений и просит меня не касаться этого предмета до нашего свидания. Я написала ему, что если он имеет сообщить мне неприятные вещи, то я прошу его, напротив, сообщить мне их письменно, чтобы не смущать и не отравлять свидания, на которое мне хочется смотреть как на утешение в моем несчастье. Но вместе с тем это начало доказывает мне, что я должна ждать весьма тяжелых разговоров, которые растроят мои раны, уже и без того столь глубокие, столь болезненные. Я поеду, чтобы провести лето, к моей свекрови, — он не мог, соблюдая приличие, этому воспротивиться! Я бы хотела не покидать эту нежную мать, которую люблю всею душою. Среди этого превосходного семейства я буду черпать утешения! Мы будем вместе оплакивать человека, которого мы одинаково любим и которого так же ценим! В следующем месяце я поеду в Москву и оттуда, через несколько недель, к матушке; поэтому ты мне не пиши по этому адресу; одно письмо ты еще можешь рискнуть послать в Петербург, но вот по какому адресу: \*Его Высокобл. Оресту Михайловичу Сомову, у Круглого Рынка, в доме Сенатора Маврина, а вас прошу отдать и проч.\* Если бы случилось, что твое письмо не застанет меня больше, он перешлет мне его в Москву, — потом же, когда ты будешь адресоваться в Москву, прошу тебя писать прямо на мое имя, прибавляя только: \*в квартире Его Пр. Мих. Алекс. Салтыкова,\* после следующего адреса: \*На Маросейке, в доме Бубуки.\* Не забудь этого, мой ангел... Как только я увижу Плетнева, я передам ему все, что ты поручаешь мне сказать ему. Я думаю, что если ты ему напишешь, он немедленно ответит тебе и заведет переписку. Он любит тебя так же, как в былое время. Он сказал мне, что твоего мужа произвели в чин „за отличие“ и перевели в Колле-

гию иностранных дел; это доставило мне большое удовольствие... Ты спрашиваешь у меня про мою Лизу: она здорова, слава Богу, и я еще кормлю ее, но думаю отнимать ее к 7 мая, годовщине ее рождения; это будет незадолго до моего отъезда; у нее три зуба, она говорит *papa, mama* (*papa* — чаще) и узнает *его* портрет. Она очень на него похожа!.. Посланы ли тебе „Северные цветы“ 1831 года? Кажется, нет, — я их пришло тебе...»

Через две недели Софья Михайловна писала:

«...Можешь себе легко представить, как начала я настоящие праздники, что испытываю я, будучи совершенно одинока посреди всего этого счастливого люда, который веселится. Мне кажется, что праздники в жизни сделаны для того, чтобы сделать для несчастных тягость их бедствий еще более тягостною. \*В будущем месяце я отправлюсь в Москву... Я бы давно поехала, но дороги еще очень дурны, притом же надобно здесь кончить дела.\* У меня есть долги, которые надобно уплатить, и совсем нет денег... \*У моей Лизы 4 зуба; 7-го мая ей будет год, но она все не стоит еще на ножках, говорит *papa, mama* и *баба* и почти все понимает.\* Мой отец написал мне еще письмо после того, о котором я тебе говорила, и опять в том же загадочном тоне. Я ожидаю очень тяжелого для себя свидания. Один Бог может дать мне силу и терпение. Надо, чтобы я заслужила столько бедствий, так как я не сомневаюсь в божеской справедливости. Может быть, страдая здесь, моя душа очистится и станет достойной пойти и соединиться с прекрасною душою того, кого я никогда не перестану оплакивать...»<sup>1</sup>

После этого письма Софья Михайловна замолчала почти на четыре месяца, в течение которых в судьбе ее произошла новая, резкая и неожиданная перемена; о ней она, однако, умолчала, и Карелина узнала об этой перемене лишь в конце октября.

«Пишу к тебе, наконец, из Москвы, милый, бесценный друг мой, — читаем в письме от 11 августа 1831 г. — Сегодня неделя, что я приехала сюда. Холодное, сухое свидание с отцом меня очень огорчило, хотя я и не могла ожидать другого — после писем, которые он писал мне в Петербург о потере моего капитала,\* который, как он подозревает (я тебе писала об этом), растратил и мой муж и я, и т. д., и т. д.; к тому же мое долгое пребывание в Петербурге очень ему не нравилось, так как он полагал, несмотря на все то, что

<sup>1</sup> Из письма от 20 апреля <1831 г.>.

я делала для того, чтобы вывести его из этого заблуждения, что мне доставляло удовольствие оттягивать наше свидание. Дело же в том, что я едва имела на что жить в Петербурге, что я торопилась покинуть последний, чтобы успокоить отца и чтобы иметь затем возможность провести некоторое время в деревне моей свекрови, уже давно нетерпеливо ожидавшей возможности обнять меня и маленькую Лизу, которую она еще не видела и которая стала ей вдвойне дорога после того, что ее отец отнят от нас; следовательно, ты видишь, что, вовсе не желая длить мое пребывание в Петербурге из-за какой-нибудь сердечной радости, я, напротив того, имела тысячу причин желать скорейшего отъезда и что если я его откладывала, то это было против моей воли. И вот почему: мой покойный муж взял на свое попечение двух своих братьев, заботы о воспитании коих моя свекровь совершенно не могла взять на себя после смерти моего свекра; они были в одном петербургском пансионе; эти дети, став совершенно сиротами после потери брата, не имели и не имеют никого на свете, кроме меня. Могла ли я бросить их? Можно ли делать подобный вопрос! Когда я потеряла половину моего состояния и не могла больше платить за них в пансион, — я взяла их оттуда и предприняла шаги для помещения их в одно из казенных заведений, — что, впрочем, предполагал сделать и покойный. Ты знаешь, сколько трудов это стоит. Институт путей сообщения показался мне лучшим местом, чтобы поместить их; к тому же у герцога Виртембергского, от которого это зависит, — добрая дочь-благотворительница; мне посоветовали обратиться к ней по этому делу, — я написала к ней, описала мое положение и положение моих сирот, она была им тронута и обещала позаботиться о них. Она заставила меня быть у нее много раз и постоянно делала мне обещания, — конечно, по доброте сердца, чтобы не обидеть меня прямым отказом. Между тем три месяца протекли в надеждах, и я все считала себя накануне отъезда и так писала моему отцу, — а он терял терпение. В конце концов я умоляла принцессу Виртембергскую сказать мне определенно, что решил ее отец: мне ответили, что дети еще слишком малы (им 12 и 13 лет, а принимают только 15-летних) и что к тому же есть уже 150 кандидатов, между тем как всегда принимают сразу только 30 воспитанников. Так как я потеряла уже много времени, я наскоро уложила свои вещи и уехала, взяв моих детей с собою, в намерении отвезти их к их матери, где они и будут ожидать более счастливых времен, а я постараюсь поместить их в Москве. И вот я с ними у

моего отца<sup>1</sup>. Мне трудно было привезти их к нему; он должен быть сердит на них за то, что они меня задержали; к тому же есть что-то, что меня терзает во всем этом, — ты должна понимать, что это: есть такие оттенки деликатности, которые невозможно выразить, они должны быть сами собою поняты. Ты меня понимаешь? Но все это лишь временно: через 5 или 6 дней папа должен уехать, он отправляется на месяц к моей тетушке Пассек, а я поеду в это время к моей матушке и отвезу к ней детей... Проси небо, чтобы оно сохранило мою Лизу, мое единственное утешение, портрет ее несравненного отца, единственное сокровище, которым я владею и которым я могла бы дорожить, так как я имею его от *него!*.. Папа видел здесь твоего мужа и очарован им, как человеком бесконечно умным. Надеюсь, что в настоящую минуту он с тобою. Напиши мне, мой ангел, один раз, по адресу моей свекрови: \*Тульской губернии в г. Чернь\*, хотя может быть, что я не так скоро возвращусь в Москву...»

Девятого сентября Софья Михайловна писала подруге, что она находится в деревне у свекрови уже более двух недель, и просила писать ей следующее письмо уже в Москву, куда она собиралась выехать после 17 сентября, дня своих именин и именин свекрови, которую звали Любовь Матвеевна; она сообщала, что бабушка и тетки не наглядятся на маленькую Лизу и окружают ее заботами; что ее самое все это прекрасное семейство «носит на руках». Письмо Софьи Михайловны заключало, по-видимому, искренние излияния в любви к далекой подруге; в нем не было ни слова, ни намек на важную перемену, которая произошла в судьбе вдовы Дельвига: об этой перемене она откровенно и подробно рассказала лишь в письме от 22 октября, написанном и посланном не из Москвы, а из Кирсановского уезда Тамбовской губернии и подписанном не S. Delvig, как письмо от 9 сентября, а S. Baratinsky. Вот что писала Софья Михайловна об этой неожиданной перемене:

«Мой дорогой друг! Последнее письмо, которое я тебе написала, было отправлено от моей свекрови из Тульской губернии, — ты не будешь знать, откуда я пишу тебе настоящее письмо, прежде чем ты не прочтешь его. Пора раскрыть тебе тайну, о которой я говорила

---

<sup>1</sup> О братьях Дельвига и об участии Пушкина в их судьбе см. заметку Б. Л. Модзалевского в «Письмах Пушкина к Е. М. Хитрово» (Л., 1927. С. 90—91). — *Ред.* (1929).

тебе несколько загадочно в моем письме из Москвы, — пора тебе узнать, какие перемены произошли в судьбе твоей бедной подруги. Надобно тебе об этом сказать без фраз: я вышла замуж за Баратынского, младшего брата поэта, ближайшего друга моего покойного мужа. Я нахожусь в Тамбовской губернии, в 90 верстах от этого города, в одном из имений г-жи Баратынской, моей новой свекрови, и здесь отныне будет место моего пребывания; сюда прошу я адресовать и твои письма: \*Тамбовской губ. в г. Кирсанов\*. Теперь выслушай меня до конца, пощади меня во имя всего, что тебе дорого! Не прибавляй к моим страданиям еще страданий от потери твоего уважения и твоей любви. Я более чем когда-либо нуждаюсь в нежности и снисходительности друга, такого как ты, я нуждаюсь в утешении: не лишай же его меня! Сначала ты меня осудишь в легкомыслии, без сомнения, — быть может, даже в двоедушии, потому что смерть моего мужа поразила меня такою горькой и глубокой скорбью! О, мой друг! Она была истинна, она еще не прошла и ничего не потеряла в напряженности, она сделалась даже еще более ужасной, так как теперь она скрыта. Нет, никогда не забуду я этого человека, поистине совершенного, столь достойного общих сожалений, а в особенности — моих, потому что я ему обязана пятью годами счастья более чем земного, счастья, которое больше не вернется для меня, которое он унес с собою в могилу. И в то же время я вновь вышла замуж через 6 месяцев после его смерти. Этим я подвергла себя общей хуле, быть может, я потеряла уважение многих честных людей, которые обладают полным моим уважением... Вот загадка! Ты должна иметь ее объяснение.

Человек этот любил меня в продолжение 6 лет; это, говорит он, делало несчастье его жизни, потому что он любил и уважал моего мужа превыше всякого выражения, и я этому верю от всего сердца, так как он всегда это показывал и потому что вообще надо было быть подлецом, чтобы не проявлять хотя бы уважения, если не приверженности к Дельвигу, как бы мало его ни знать. Мой муж также любил его от всего сердца, смерть его, по-видимому, очень его огорчила, судя по его письмам, которые он писал ко мне из своей Тамбовской деревни, в которой я нахожусь в настоящее время. Между тем в один прекрасный день он появляется передо мною в Петербурге, говорит, что не может долее сносить неизвестность, которая его убивает, и просит у меня моей руки. Это было в конце мая. Ты можешь судить, дорогой друг, до какой степени это привело меня в



негодование [scandalisait], но ты не в состоянии представить огорчение, которое заставило меня испытать эта поспешность; я напомнила ему о дружбе к нему Дельвига, сказала ему, что помимо принятого мною решения не выходить больше замуж я не хотела бы, чтобы смерть такого существа, каким был тот, кого я потеряла, могла сделаться причиною удовольствия для человека, который был им любим и память которого должна была бы им почитаться. Он клялся мне, что искренно оплакивал его, что всегда будет его оплакивать со мною, но что без меня существование станет для него тягостно и что он решил от него избавиться в случае моего отказа. Это не обыкновенный молодой человек; я прекрасно видела, что нужно было употребить все средства, чтобы заставить его прислушаться к рассудку, потому что его решения всегда непоколебимы и в характере у него столько же горячности, сколько твердости, что представляется довольно редким соединением. Я пробовала было доказать ему, что я не могу сделать его счастливым, что он ошибается, надеясь на это, что я не могу больше любить так, как любит он, что мое сердце разбито и что отныне единственно моя дочь и воспоминание о ее отце могут занимать меня. Я говорю правду, мой друг. Смерть Дельвига совершенно меня переменяла. У меня нет другой мысли, как о нем, ничто в мире не может меня интересовать, кроме Лизы, и я хотела бы всю себя безраздельно посвятить ей и семье моего мужа. На это он возразил, что он тоже решил не жить, как только для меня и для моей дочери, что изучение ее жизни составит его счастье, что я не буду иметь возможности, потеряв мое состояние, быть существенно полезной моей несчастной свекрови; что, выйдя за него замуж, я буду иметь к тому более способов, — что и меня, и мою дочь будут обожать в доме его матери и что я всегда буду иметь свободу всецело посвятить себя моему дитяти. Его отчаяние, малая надежда, которую я предвидела, на изменение его страшного решения, испытываемое мною отвращение к совместной жизни с моим отцом, наконец, одна минута слабости, — все это решило мою судьбу, и я не могла получить от нетерпеливости Сергея отсрочки, которая требовалась хотя бы приличием. Он боялся, чтобы я не ускользнула от него, он хотел с этим покончить, чтобы быть более спокойным. Наконец, перед моим отъездом из Петербурга мы обвенчались тайно, так как я должна была еще совершить поездку к моей свекрови. У меня не хватило смелости сказать что-либо в Москве моему отцу; время, проведенное мною у моей чудесной

свекрови, было для меня временем испытаний и страданий, — ты можешь хорошо судить об этом. У меня не было больше смелости вернуться к моему отцу, который ждал меня к началу октября; к тому же я не решилась видеть такое множество людей, которые любили моего мужа, — это причиняло мне боль, и, сверх всего, я заметила, что я беременна, и Сергей уже написал своему семейству, которое торопило нас приехать сюда. Итак, я, попросившись с матушкой и сестрами (раздирающее прощание!), присоединилась к моему мужу в Туле и он привез меня сюда, откуда я написала моему отцу и моей свекрови. Я не получила еще ответов от них, — ты можешь судить о беспокойстве, с которым я их ожидаю. Моя матушка так добра, так снисходительна, так достойна всяческой моей преданности и всякого моего уважения! Что, если я потеряю ее уважение! Эта мысль раздирает мне душу! Здесь приняли меня с распростертыми объятиями, — равно как и мою маленькую Лизу, которую окружают заботами и вниманием, самыми трогательными. Мать Сергея, его две сестры и тетка (сестра его матери) — вот лица, составляющие наше общество; они меня любят, — это видно, они мне это свидетельствуют тысячью вниманий, — тем не менее я страдаю смертельно, мой друг! Я умерла для всех, так как все, конечно, меня презирают. Я оплакиваю втайне моего мужа, я не решаюсь оплакивать его перед теми, кто окружает меня: несмотря на их деликатность, я чувствую, что это причинило бы им боль. Я не в состоянии буду любить этого так, как любила того. Никогда! Я его ценю, я его уважаю, я привяжусь к нему даже больше, я это чувствую, но ты понимаешь, страдаю ли я, ты это, конечно, понимаешь! И семейство: оно доброе, очень доброе, но оно не такое, как то! Когда я буду поспокойнее, я опишу тебе подробнее тех, кто меня окружает; пока же следует, чтобы ты знала, что мой муж — молодой человек моих лет, добрый, чувствительный, немного подозрительный и ревнивый, но деликатный. С детства он выказывал склонность к медицине, — это его призвание, он ей предался и изучил ее глубоко; в прошлом году он выдержал в Москве экзамен *на врача*, а теперь готовится к тому, чтобы в будущем году держать экзамен *на доктора*, после чего, если он не решит служить, он вернется на жительство в деревню, в которой мы находимся и в которой у него есть часть в 300 душ, как и у его трех братьев. У него здесь достаточная практика, больные по соседству обращаются к нему; он также и акушер; но так как он врач по призванию, он не берет ничего за это, — что

и правильно. Моя Лиза здорова, но еще не ходит, хотя ей 17 месяцев; у нее 8 зубов, она говорит много слов своего сочинения. Обнимаю твоих деток и тебя от всей души. Пиши мне поскорее, во имя всего, что тебе дорого. Успокой меня насчет твоего здоровья и твоей ко мне дружбы. О, как я в ней нуждаюсь! Я думаю, что у моего отца имеются твои письма, которые он не замедлит прислать ко мне; надеюсь на это, ведь я так давно ничего о тебе не знаю. Это прибавляет еще к моим горестям, которые и без того достаточно жгучи. Прощай, мой единственный друг. Да сохранит тебя небо. Люби меня и скажи, что ты меня любишь. Всегда твоя сердцем С. Баратынская».

Однако ответа на это письмо свое Софья Михайловна не получила или получила такой ответ, после которого ей уже трудно было писать.

Переписка между подругами резко и сразу оборвалась — на целых полтора года. Лишь в марте 1833 г. сношения между ними возобновились: в это время Г. С. Карелин, проездом в Петербург через Кирсанов (Тамбовской губернии), завернул в деревню к Софье Михайловне и на словах передал ей поклон и привет от своей жены и уверил ее в дружеском расположении последней. Это известие чрезвычайно обрадовало Софью Михайловну, которая, в письме от 16 марта, выражала восторг по поводу возобновления дружеских сношений после того, что она думала, «что все было кончено между ними». Однако порванная однажды переписка не налаживалась, по крайней мере до нас дошло лишь еще пять писем Софьи Михайловны к Александре Николаевне за 1833 год, четыре письма за 1834-й, два письма — за 1835-й, ни одного — за 1836-й и лишь одно-единственное за 1837-й... Познакомимся с ними в их хронологической последовательности.

У Боратынской было в 1833 г. уже двое детей от второго мужа; они да маленькая Лиза Дельвиг брали у нее все время, — на переписку не оставалось досуга; письма, по-прежнему временами восторженные, становились короче и, наконец, совсем прекратились.

Поделившись с подругою сведениями о Лизе, которая очень походила на своего отца внешностью, С. М. Боратынская сообщала о своих брате и отце. «Миша все живет в Виленской губернии, — писала она весной 1833 г., — со своею женою и четырьмя сыновьями; он хочет вступить в гражданскую службу, и мой отец подыскивает

ему место. Последний, т. е. отец, в Москве, сенатором; он хорошо относится ко мне теперь, — говорю теперь, так как я не уверена, что его ипохондрическое настроение приведет ему в голову каких-нибудь неблагоприятных ко мне мыслей, что время от времени случается, хоть быстро и проходит. Он приезжал сюда повидаться со мною прошлым летом, ибо имение его находится всего в 150 верстах от нашего. Он был в высшей степени любезен со всеми нами, — ты ведь знаешь, умеет ли он быть любезным, когда захочет того». В одном письме она касалась своего мужа; говоря, что у нее много разных огорчений, она писала:

«Не относи этого на счет моего мужа: это молодой человек редкого благородства души, — можно сказать без преувеличения, — и хотя у нас бывают с ним ссоры, — они бывают лишь из-за любви и из-за ревности (он до крайности ревнив)<sup>1</sup>; я вовсе не счастлива в его семействе; я вынуждена жить в нем, в ожидании того, когда наши средства позволят нам выстроить отдельный дом (мы решили прожить несколько лет в деревне)... В течение трех лет, что я поселилась здесь, я никуда не выезжала; я веду очень уединенную жизнь, будучи или беременною, или кормя детей, — что освобождает меня от визитов; мы тоже мало кого принимаем у себя: соседей у нас хоть и много, но лишь немногие ездят к нам, так как моя свекровь почти всегда находится в состоянии глубокой ипохондрии и не любит видеть у себя гостей. Два или три семейства, приезжающих собственно к нам, т. е. к Сергею и ко мне, доставляют нам иногда приятные дни; это люди довольно приличные, и мы не очень стесняемся принимать их, так как моя свекровь с недавнего времени перестала появляться в гостиной, даже тогда, когда мы находимся в своей семье; она не бывает даже за обедом<sup>2</sup>. Эти наши знакомые — семейство Устиновых, муж и жена, прекрасные люди, хотя и ограниченные; Кривцов и его жена, — он человек весьма умный, светский и вполне замечательный; она — особо 36—38 лет, прекрасно знающая свет, в котором она постоянно жила, добрая, хотя несколько странная по некоторым аффектированным манерам, сохраненным ею с молодых лет, которые ей можно простить, так как она была очень красива (я, помню, видела ее в Петербурге) и сохраняет еще остатки красо-

---

<sup>1</sup> Об этих ссорах сообщала мужу О. С. Павлищева в 1835 г. (Пушкин и его современники. Вып. 17—18. С. 169, 188).

<sup>2</sup> Любопытные черты матери поэта Е. А. Боратынского.

ты, почему и происходит, что она не может отделаться от некоторых мелких приемов, хорошо идущих к молодой и красивой женщине и даже грациозных, хотя и не совсем естественных<sup>1</sup>. Наконец, Чичерин и его жена, молодая чета, весьма счастливая. Чичерин — человек превосходного воспитания и отличного ума; он очень близок с моим мужем<sup>2</sup>. У всех этих трех супругов есть дети, — почему мы всегда можем найти взаимоотношения между собою, как матери семейств. Есть еще и другие лица, о которых я не говорю, так как они не составляют, как эти, нашего обыкновенного общества. Но то, что способствует украшению нашего уединения, это присутствие моего шурина Евгения (поэта), который этим летом приехал, чтобы поселиться здесь со своими женою и детьми. Он счастливее нас, так как построил себе отдельный дом, сбоку от большого дома. Что это за человек, мой друг! Это поистине поэтическая душа! Какой возвышенный ум, какая нравственная чистота, какая высота чувств! У него много сходства в нравственном отношении с моим покойным мужем. Ты знаешь, что они были связаны с ним, как братья. Мы часто говорим о нем, — это так сладко для меня. Его жена — особа, достойная его, они очень счастливы. Итак, чтобы дать тебе представление об этом семействе, скажу тебе, что эти столь благородные существа в нем не любимы... Им завидуют за их достоинства, за их превосходство. Как настоящие гарпии, они хотели бы пустить яду даже в их домашнее счастье. И только мой муж, у которого благородная душа, способен ценить достоинства Евгения, восторгаться им и понимать его. Поэтому они очень тесно связаны, и это наполняет мое сердце радостью... Моя Лиза — премилое маленькое создание, живое, доброе; я думаю, что ее характер — из тех, на которые можно смотреть, как на лучшие, лишь бы их хорошо направлять и не позволить им стать буйным. Что касается ее лица, то я уже говорила тебе, что это — портрет отца, но она будет красивее; она начинает говорить по-французски... Я читаю все, что является нового, — то нам достают книги, то мы их себе выписываем.

---

<sup>1</sup> Известный Николай Иванович Кривцов (некогда приятель Пушкина) и его жена, Екатерина Федоровна, рожд. Вадковская, жившие в имении Любече, Тамбовской губ. См. кн. М. О. Гершензона «Декабрист Кривцов и его братья» (М., 1914).

<sup>2</sup> Поручик Николай Васильевич Чичерин и его жена Екатерина Борисовна, рожд. Хвошинская, родители известного юриста и философа, проф. Московского университета Бориса Николаевича Чичерина (1828—1904). — *Ред.* (1929).

ваем. Знаешь ли ты Балзака и нравится ли он тебе? Вышивание по канве было моею страстью в прошлом году, как оно твоя страсть теперь. Надо признаться, что это — работа, которая может приятно развлекать. Я теперь не вышиваю с утра до вечера, но у меня всегда есть начатая работа, и я тружусь за ней от времени до времени. Благодарю тебя за интерес, который ты проявляешь к семейству Дельвигов. Моя свекровь постоянно мне пишет и, кажется, любит меня, как и прежде; я же смотрю на нее как на свою собственную мать, и, конечно, на мать, к которой я питаю искреннейшую и величайшую приверженность...»<sup>1</sup>

«Я и мои трое детей чувствуют себя хорошо, — пишет она через полгода, — но мне грустно по случаю отъезда моего шурина Евгения и его семейства: они уехали надолго в Москву, оставив у нас большую пустоту. Настя (моя невестка), может быть, возьмет надобность сообщить мне о вещах, которые она не хотела бы высказывать открыто, из боязни, чтобы их не узнал кто-либо из здешних членов нашего семейства. Для большей безопасности я обещала ей поэтому (зная твою дружбу), что она может иногда адресовать свои письма к тебе, причем я уверена, что ты не откажешься взять на себя труд переслать их ко мне в твоих пакетах, — никому и в голову не придет, что в конверте, носящем на себе почерк неизвестного лица, находится еще Настино письмо, посланное таким длинным путем...»<sup>2</sup>

Восемнадцатого июля Софья Михайловна уже благодарила подругу за пересылку к ней письма Настасьи Львовны Боратынской; осторожность ее в чужой семье доходила до того, что она «сжигала каждое письмо, едва прочитав его». «Я свято сохраняю эту принятую на себя обязанность по отношению ко всем, кто переписывается со мною под этим условием». Из письма от 16 января 1835 г. узнаем, что у А. Н. Карелиной родилась в конце 1834 г. дочь Елизавета, а у С. М. Боратынской, 22 декабря, — дочь Софья, которую, по слабости здоровья, она не решила кормить сама и взяла кормилицу. «Я боялась сухотки, тем более что маменька моя этой болезнью скончалась», — объясняла она<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Из письма от 13 ноября 1833 г.

<sup>2</sup> Из письма от 12 июня 1834 г.

<sup>3</sup> Из письма от 10 апреля 1835 г.

На большом и очень дружеском письме Софьи Михайловны от 20 января 1837 г. переписка подруг прекратилась уже навсегда, — ни одного за более позднее время в архиве Боратынских не сохранилось. В этом есть что-то провиденциальное: пока письмо Софьи Михайловны шло в Оренбург, пресеклись дни жизни Пушкина, — того человека, пламенными поклонницами которого с юных дней были обе подруги. С этого момента они как будто потеряли остаток молодого энтузиазма, который так свойствен был им обоим...

Мы мало знаем о дальнейшей жизни Боратынской и Карелиной. О том, как прожила свою дальнейшую жизнь Софья Михайловна, мы уже однажды рассказывали<sup>1</sup> и здесь повторяться не будем. Скажем лишь, что общим своим обликом она, по-видимому, подходила под тот тип женщин, который так нравился Пушкину и другим мужчинам той эпохи. Она отнюдь не была «причудницей большого света», которых так рано оставил и Онегин, находя современный ему высший тон «довольно скучным». Вспомним, как описывал Пушкин этих «причудниц»:

Хоть может быть иная дама  
Толкует Сея и Бентама;  
Но вообще их разговор —  
Несносный, хоть невинный вздор.  
К тому ж оне так непорочны,  
Так величавы, так умны,  
Так благочестия полны,  
Так осмотрительны, так точны,  
Так неприступны для мужчин,  
Что вид их уж рождает сплин<sup>2</sup>.

С. М. Дельвиг-Боратынская была женщиной противоположных качеств ума и души, — вот чем она нравилась и Пушкину, и Дельвигу, и Боратынскому, и Вульффу, и многим другим ее поклонникам...

Что касается А. Н. Карелиной, то судьба дала ей в удел, по-видимому, столь же долгие годы, как и ее подруге: родившись в 1808 г. в день Благовещения, она была жива еще в 1885 г.<sup>3</sup>, вдовела она с

<sup>1</sup> См. «Роман декабриста Каховского».

<sup>2</sup> Евгений Онегин, гл. 1-я, строфа XLII.

<sup>3</sup> Русский архив. 1885. Кн. 1. С. 461.

1872 г. и проживала в своем имении — сельце Трубицыне, Московского уезда, в 38 верстах от Москвы по Ярославскому тракту, близ станции Пушкино, вместе с незамужнею дочерью своею Софьею Григорьевною — крестницею С. М. Дельви́г; С. Г. Карелина была жива еще в 1913 г., жила в том же Трубицыне, имея уже восемьдесят семь лет от роду; сестра ее, Елизавета Григорьевна (1834—1902), была замужем за известным ботаником и общественным деятелем профессором Андреем Николаевичем Бекетовым; дочь последних — Александра Андреевна — была матерью поэта Александра Блока.

*10 X 1925*



**Б. Л. МОДЗАЛЕВСКИЙ**

**ПУШКИН**

**И ЕГО СОВРЕМЕННОКИ**

Избранные труды  
(1898—1928)

Санкт-Петербург  
«Искусство—СПБ»